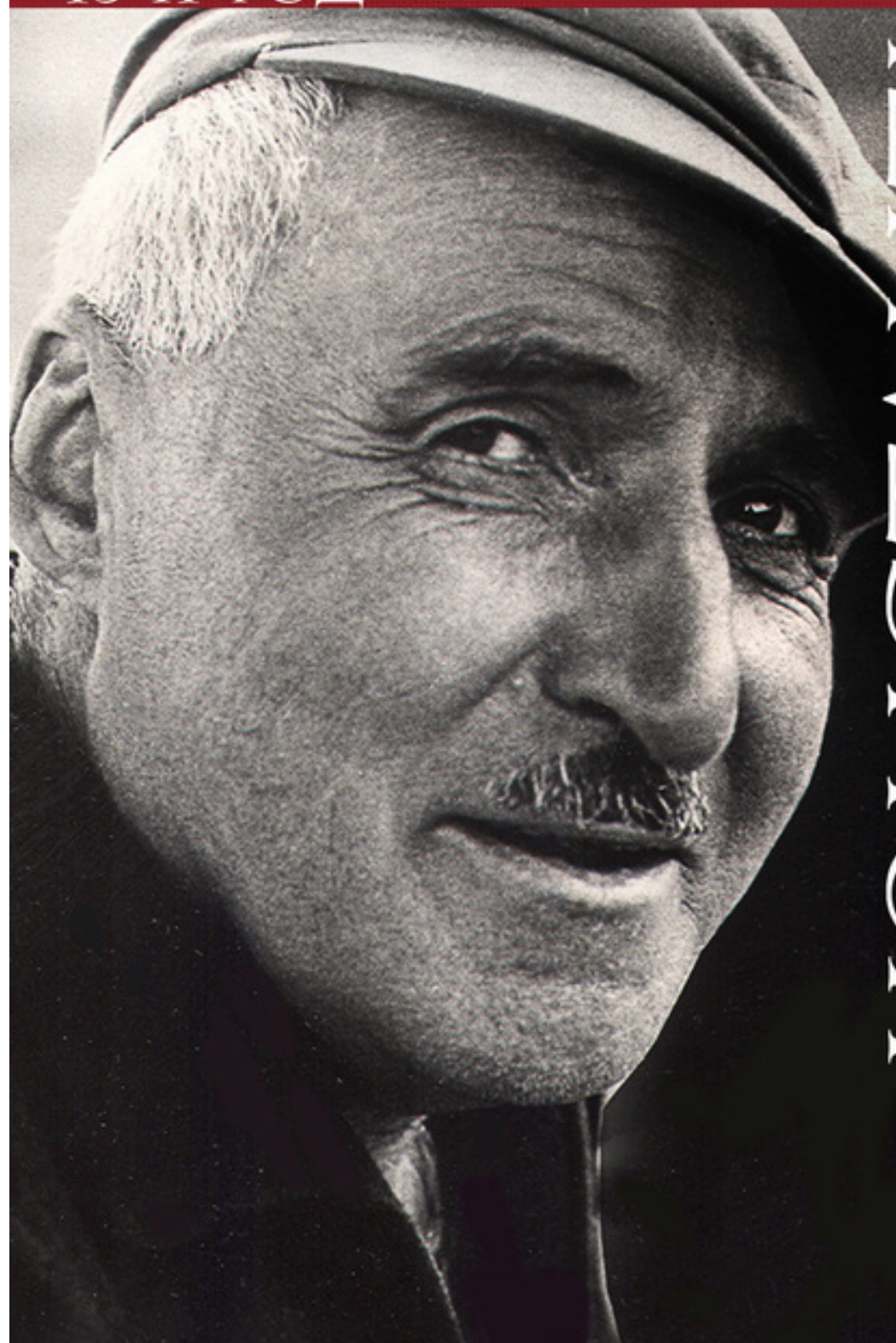


*Письму тебе с Войны...*



РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ  
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ  
1941 ГОД



КОНСТАНТИН  
СИМОНОВ

Константин Симонов

**Разные дни войны.  
Дневник писателя. 1941 год**

«Издательство АСТ»

2016

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Симонов К. М.**

Разные дни войны. Дневник писателя. 1941 год /  
К. М. Симонов — «Издательство АСТ», 2016

ISBN 978-5-17-096488-8

В качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» К.М. Симонов объездил во время Великой Отечественной войны многие участки фронта. Все, чему стал очевидцем, он стремился запечатлеть в своих дневниковых записях, которые в послевоенные годы литературно обработал и прокомментировал. Перед вами страницы дневника Константина Симонова, посвященные первому, самому трудному году войны – 1941. Они позволяют погрузиться в водоворот событий на полях сражений и в тылу, увидеть непростые будни военных корреспондентов. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны, советской литературой и публицистикой этого времени.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-096488-8

© Симонов К. М., 2016  
© Издательство АСТ, 2016

## Содержание

От автора	6
Глава первая	8
Глава вторая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Константин Михайлович Симонов**  
**Разные дни войны.**  
**Дневник писателя. 1941 год**

© К.М. Симонов, наследники, 2016 г.

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2016

Все права защищены

\* \* \*

## От автора

Подзаголовок этой выходящей сейчас в двух томах книги<sup>1</sup>, определяет ее характер. Она – не мемуары профессионального военного и не труд историка, а именно дневник писателя, своими глазами видевшего какую-то частицу событий Великой Отечественной войны. События эти были необъятно огромны, а круг моих личных наблюдений весьма ограничен, и я достаточно хорошо понимаю это, чтобы не претендовать на их полноту.

Следует добавить, что моя работа тех лет выходила за рамки обязанностей военного корреспондента «Красной звезды», и в книге речь пойдет не об одних фронтовых поездках, но и о писательской работе.

Наиболее подробные записи связаны у меня с началом и концом войны, с сорок первым и сорок пятым годами. Записи за сорок второй, сорок третий и сорок четвертый годы иногда довольно подробны, а иногда носят отрывочный характер. Следы некоторых поездок на фронт остались только в корреспонденциях, печатавшихся в «Красной звезде» и «Правде», в копиях репортажей, которые я посылал через Информбюро в Америку, и в скорописи фронтовых блокнотов. Я хорошо понимал, как важно для писателя вести военные записи, и, пожалуй, даже преувеличивал их значение, когда, отвечая во время войны на вопросы Американского Телеграфного Агентства, писал: «Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

Однако эти слова разошлись с делом. Важность дневниковых записей я понимал, а вести их систематически порой не хватало времени. В промежутках между фронтовыми поездками и корреспондентской работой я написал за те годы две книги стихов, три пьесы и повесть «Дни и ночи». Успевая одно – не успевал другого. И дело было не только в недостатке времени, а в недостатке душевных сил.

В книге «Разные дни войны» читатель встретится:

Во-первых, с теми страницами моих военных записок, которые были продиктованы между поездками на фронт или – что гораздо реже – были сделаны по памяти вскоре после войны; текст их сокращен мною главным образом за счет малосущественных подробностей корреспондентской жизни и некоторых мест, носивших личный характер.

Во-вторых, со страницами, взятыми мною из фронтовых блокнотов, из переписки военного, а иногда и послевоенного времени, и в нескольких случаях – из моих военных корреспонденций.

И наконец, в-третьих, с моими нынешними воспоминаниями и размышлениями, основанными по большей части на знакомстве с архивными материалами. Быть может, некоторым из читателей покажется, что я отвел в книге излишне много места выяснению биографических подробностей и дальнейших судеб даже мельком встреченных мною на фронте людей. Но мне хочется напомнить, что оборванность людских судеб – одна из самых трагичных черт войны. И сейчас у меня все обостряется чувство неоплатности долга, все неотложней становится обязанность: всюду, где можешь, назвать разысканные тобою имена воевавших людей, проследить в сложных переплетах войны ниточки их судеб, иногда безвозвратно оборванных, а иногда просто не до конца нам известных, в том числе тех, кто остался жив, но, случалось, был записан в мертвые ошибкою памяти или документа.

---

<sup>1</sup> Том фронтовых заметок К.М. Симонова 1942–1945 гг. выйдет отдельным изданием в серии «Военные дневники». – *Прим. ред.*



Подготавливая книгу к печати, я старался, чтобы читателю в каждом случае было ясно, с чем он имеет дело: с тем, что я писал в те годы, или с тем, что вспоминаю теперь.

Книга документальная, в ней нет вымышленных персонажей, и всюду, где я считал себя вправе это сделать, я сохранил подлинные имена и фамилии. В такой книге, как эта, возможны ошибки памяти, и я буду признателен тем, кто на них укажет.

Мне остается честно предупредить тех из читателей, которые знают роман «Живые и мертвые» и примыкающие к этому роману повести «Из записок Лопатина», что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями.

Это объясняется тем, что, когда пишешь повесть или роман о таком тяжком деле, как война, фантазировать и брать факты с потолка как-то не тянет. Наоборот, всюду, где это позволяет твой собственный жизненный опыт, стараешься держаться поближе к тому, что видел на войне своими глазами.

При всей разнице литературных жанров «Живые и мертвые» были написаны, в общем, о том же самом, что и дневник. Он был отправной точкой для романа и предшествовал ему по времени, хотя сейчас для многих читателей, когда они встретятся в дневнике с тем, что уже читали в романе, все будет выглядеть как раз наоборот.

В дальнейшем, на протяжении книги, я буду лишь в самых необходимых случаях напоминать об этой связи одного с другим, но здесь, во вступлении, хочу без недомолвок признаться, что для меня самого, как для писателя, эта связь принципиально важна.

## Глава первая

Двадцать первого июня меня вызвали в радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни. Так я почувствовал, что война, которую мы, в сущности, все ожидали, очень близка.

О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война.

Сейчас же позвонил в политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз в пять.

Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно.

Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто так же, как и я, всего несколько дней назад вернулся с лагерных сборов после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали.

На следующий день нас – первую партию, – человек тридцать, вызвали в политуправление и распределили по газетам. Во фронтовые – по два, в армейские – по одному. Мне предстояло ехать в армейскую газету. Было немножко неожиданно это предстоящее одиночество. Писательское, конечно.

Потом вместе с Долматовским был в райкоме партии. Перед отъездом на фронт я стал кандидатом партии – секретарь райкома вручил мне кандидатскую карточку, а Долматовскому партийный билет. После этого мы опять до вечера были в Наркомате обороны. Там выписывали документы: мне в армейскую газету 3-й армии в Гродно. Получили документы и обмундирование. Оружия не дали, сказали: достанете на фронте. Там, в вещевом цейхгаузе, я в последний раз видел многих из тех, с кем мы разъезжались.

Шумели, примеряя военную форму. Были очень оживленны, может быть, даже слишком, нервничали.

Шинель впопыхах выбрал себе не по росту, и пришлось на следующее утро, 24-го, менять в военторге. Долматовский покупал себе там шпалы на петлицы. Так и простились с ним посреди магазина.

В ночь с 23-го на 24-е была первая воздушная тревога, как потом оказалось – учебная. Все это, конечно, были игрушки, но я тащил детей с пятого этажа вниз, в убежище, и мне все это казалось чрезвычайно серьезным.

Двадцать четвертого, еще засветло, ездил на вокзал, чтобы оформить до Минска свой воинский литер. До места так и не добился, только узнал, когда пойдет поезд. Решили, что как-нибудь сяду. Было настроение проститься с Москвой сегодня и не откладывать отъезда еще на день.

Вечером в Москве было абсолютно темно. Машину, в которой я ехал на вокзал, задержали: шофер ехал не с такими предохранительными сетками, какие положено было иметь. К счастью, подвезла другая машина, и в последнюю минуту я все-таки попал к поезду, отходившему на Минск. Верней, думал, что в последнюю минуту, потому что поезд ушел только через два часа.

На вокзале кое-где горели синие лампочки. Черный вокзал, толпа людей, непонятно, когда, куда и какой идет поезд, какие-то решетки, через которые не пускают. Перебросил чемодан, потом перелез сам.

Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка.



Поезд тронулся. Вагоны были, неизвестно почему, дачные, без верхних полок, хотя поезд шел до Минска.

Я должен был явиться в политуправление фронта в Минске, а оттуда – в армейскую газету 3-й армии. В вагоне ехали главным образом командиры, возвращавшиеся из отпусков. Было тяжело и странно. Судя по нашему вагону, казалось, что половина Западного военного округа была в отпуску. Я не понимал, как это случилось.

Ехали ночь на 25-е и весь день 25-го. Вечером в Орше бомбили, не далеко от поезда. 26-го, вернее, в ночь на 26-е поезд подошел к Борисову. Известия с каждым часом были все тревожнее. И надо сказать, мы быстро привыкали к ним, хотя им и трудно было поверить.

Рядом со мной в вагоне сидели полковник-танкист и его сын, мальчик лет шестнадцати, которого отцу разрешили взять с собой в армию. Кроме них, один артиллерийский капитан, по виду спокойный человек.

Слезли в Борисове в шесть утра. Дальше поезда не шли. Были сведения, что пути до Минска разбомблены и перехвачены десантом. Потом говорили, что немцы 20-го уже вышли на железную дорогу между Минском и Борисовом, обойдя Минск. Но нам это еще не приходило в голову, думали, десант. Мы вылезли прямо у станции, свалили в кучу чемоданы. Сын полковника заботливо помогал старшим устроиться с харчами. Все тащили все, что было, и ели вместе. Кто-то вдруг притащил бочонок сметаны. Черпали сметану тарелками, кружками и даже касками. Было в этом что-то грустное. Внешне как будто ничего особенного, а в сущности: эх, где наша не пропадала!

Поев, три часа металась по городу в поисках власти. Ни комендант станции, ни комендант города ничего не могли сказать. Начальник гарнизона корпусной комиссар Сусайков был не то в городе, не то километрах в двенадцати от города у себя в бронетанковом училище, которым он командовал.

После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой готовился бросить ее из-за того, что кончился бензин, и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство.

Над городом крутились немецкие самолеты. Были отчаянная жара и пыль. У выезда из города, возле госпиталя, я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю, откуда они появились. Наверное, после бомбежки.

По дороге шли войска и машины. Одни в одну сторону, другие – в другую. Ничего нельзя было понять.

Выехали из города, но там, где стояло бронетанковое училище, верней, должно было стоять, и где, по нашим расчетам, мог находиться начальник гарнизона, все было настезь распахнуто и пусто. Стояли только две танкетки, и в ожидании отъезда сидели в одной из комнат их экипажи. Никто ничего не знал. Начальник гарнизона, по слухам, был где-то на Минском шоссе, а училище было уже эвакуировано.

Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Один прошел над нами, строча из пулемета. От грузовика полетели щепки, но никого не задело. Я плюхнулся в пыль в придорожную канаву.

Вернулись в комендатуру. Комендант – старший лейтенант – кричал: «Закопать пулеметы!» За два часа нашего отсутствия многое переменялось. По городу шли и бежали неизвестно куда люди.

Я попросил коменданта выдать мне наган. На это комендант мне ответил: «Эх! Что бы вам обратиться раньше на полчаса. Ничего не осталось. Все за час роздали. Даже маузеры раздавали рядовым бойцам».

В нашей машине бензин действительно был уже на исходе. Узнав, где находится нефтебаза – она была примерно в пятнадцати километрах в сторону Минска, – поехали туда за бензином. По дороге посадили в машину какого-то интенданта и еще двух-трех военных.

На нефтебазе все оказалось спокойно, хотя по дороге нас уверяли, что там уже немцы. Пока мы ведрами заливали бензин в машину, капитан пошел к начальнику нефтебазы что-то выяснить. Войдя вслед за ним, я увидел странную картину: капитан, с которым я приехал, и какой-то полковник держали под взведенными наганами двух командиров в форме саперов. Один из них был с орденами. У обоих было отобрано оружие. Как впоследствии оказалось, их прислали сюда выяснить возможность подрыва нефтебазы, и не то они перепутали и явились уже подрывать ее, не то их не так поняли, в общем, вышло недоразумение, из-за которого капитан и полковник приняли их за диверсантов и пять минут держали под револьверными дулами. Когда все наконец выяснилось, один из саперов – немолодой майор с двумя орденами – стал кричать, что с ним никогда еще такого не было, что он три раза был ранен в финскую кампанию, что после такого позора ему остается только застрелиться. С трудом удалось его успокоить.

Заправившись бензином, поехали обратно. На переезде стоял длинейший состав, загораживавший дорогу. Голова его упиралась в хвост другого состава, загораживавшего следующий переезд. И так, кажется, до бесконечности. Двое из сидевших в кузове нашей машины стали шуметь и требовать, чтобы мы бросили машину и шли пешком, потому что поезда никогда не пойдут и нас тут настигнут немцы. Мы с капитаном на них накричали.

Но действительно пришлось ждать около часа. Где-то бухала артиллерия. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кобура только раздражала.

Когда мы снова добрались до города, комендатура грузилась. На мой вопрос, что происходит, комендант охрипшим голосом прокричал:

– Есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, перейти на ту сторону Березины и там, не пуская немцев, защищаться до последней капли крови!

Мы выехали из города. По пыльной дороге на восток шли машины, изредка орудия. Двигались пешком люди. Теперь все же направлялись в одну сторону, на восток. На дамбе, перед мостом, стоял человек с двумя наганами – за поясом и в руке. Он останавливал людей и машины и вне себя, грозя застрелить, кричал, что он должен остановить здесь армию и он остановит ее и будет стрелять всех, кто попытается отступить. Этот человек был искренен в своем отчаянии, но все это вместе взятое было нелепо, и люди равнодушно ехали и шли мимо него. Он пропускал их, хватал за гимнастерки следующих и опять грозил застрелить.

Переехав через мост, мы свернули с дороги и остановились в небольшом редком лесу, метрах в шестистах от реки. Здесь уже кишмя кишело. По большей части все это были командиры и красноармейцы, ехавшие из отпусков обратно в части. А кроме них, бесконечное количество призванных, упорно двигавшихся на запад, на свои призывные пункты.

Было уже часа четыре дня. Несколько полковников, в том числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок. Составляли списки, делили людей на роты и батальоны и отправляли налево и направо вдоль берега Березины занимать оборону. Было много винтовок, несколько пулеметов и орудий.

Артиллерийский капитан, с которым я ездил, отправился еще обратно в Борисов за снарядами и пушками, потому что хотя здесь были и пушки и снаряды, но калибр снарядов не соответствовал калибру орудий.

Я загнал машину в лес и пошел записываться в строевые списки. Записавшись, встретил военного юриста, который тоже ехал со мной в одном вагоне. Он сказал мне, что ему приказали заниматься тут его прокурорскими делами, и посоветовал мне быть при нем: «Ведь не газету же здесь выпускать». Через несколько минут он притащил мне откуда-то винтовку со штыком, без ремня, так что мне все время приходилось держать ее в руках.

Через полчаса после того, как я попал сюда, немцы с воздуха обнаружили наше скопление и стали обстреливать лес из пулеметов. Волны самолетов шли одна за другой примерно через каждые двадцать минут.

Мы ложились, прижимаясь головами к тощим деревьям. Лес был редкий, и нас очень удобно было расстреливать с воздуха. Никто друг друга не знал, и при всем желании люди не могли толком ни приказывать, ни подчиняться.

– Хоть бы дождаться темноты, – сказал мне прокурор.

Наконец часа через три над лесом низко прошло звено И-15. Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца. Несколько человек рядом со мною было ранено – все в ноги. Как лежали в ряд, так их и пересекла пулеметная очередь.

Мы думали, что это случайность, ошибка, но самолеты развернулись и прошли над лесом во второй и в третий раз. Звезды на их крыльях были прекрасно нам видны. Когда они в третий раз прошли над лесом, кому-то из пулемета удалось сбить один самолет. Туда, где горел этот самолет, на опушку, побежало много народа. Бежавшие туда говорили, что из кабины вытащили труп полусгоревшего немецкого летчика.

Не понимаю, как это случилось. Остается думать, что немцы в первый день где-то захватили несколько самолетов и научили своих летчиков летать на них. Во всяком случае, впечатление у нас осталось удручающее.

Штурмовали нас до поздней ночи. К ночи вернулся капитан и привез снаряды. Он был очень доволен тем, что дорвался до своего артиллерийского дела и не чувствует уже себя неизвестно куда гонимой пешкой.

Мы чего-то пожевали, кажется сухарей. А пить – устали так, что за водой даже не пошли.

Я уже в темноте улегся у колес грузовика, положив под голову шинель, а винтовку рядом. Было чувство усталости и полного недоумения перед всем, что кругом делается. Но вместе с тем была вера, что все это случайность, какой-то немецкий прорыв, что впереди и сзади есть наши войска, которые придут и все поправят.

Я устал до такой степени, что, когда ночью нас опять начали обстреливать с воздуха, проснулся, только когда кто-то над ухом выстрелил и открылась отчаянная стрельба в небо. Машины ехали куда-то, натыкались между деревьями одна на другую, разбивались, ломались. Над горизонтом то и дело повисали осветительные ракеты и слышались далекие взрывы бомб.

Наш водитель хотел было рвануться вслед за другими, но я удержал его, решив не выезжать из лесу, пока не прекратится паника.

Через полчаса в лесу стало тише. Сев в пятитонку, стали пробираться к дороге. Выехали на опушку. Оставив там водителя с машиной, я вышел на дорогу и наткнулся на группу из четырех или пяти человек, которые разговаривали с кем-то, одетым в штатское, и требовали у него документы. Он отвечал, что документов у него нет. Они требовали еще настойчивее; тогда он дрожащим голосом крикнул: «Документы вам? Все Гитлера ловите! Все равно вам его не поймать!» Военный, стоявший рядом со мной, молча поднял наган и выстрелил. Штатский согнулся и упал. Над нашими головами загорелась ослепительная белая ракета, и сразу же шагах в сорока грохнула бомба. Я упал. Потом грохнуло еще раз и еще – уже дальше. Я поднялся. Рядом со мной лежал застреленный, около него – почти на нем – убитый осколком бомбы военный, один из только что стоявших здесь. А больше никого не было.

Я вернулся в лес. Шофер лежал под машиной, головой – под мотор. Выехав с ним на дорогу, мы узнали у проходивших военных, что всем приказано отойти километров на семь назад, туда, где через лес идет просека.

На лесной дороге было темно. Я шел перед машиной, чтобы не дать ей врезаться в деревья. Когда рассвело, мы добрались до опушки леса, где чуть ли не за каждым деревом стояли машины. Люди рыли окопы и щели.

Я оставил машину в лесу, рядом с другими машинами, а сам пошел искать какое-нибудь начальство. Мне указали как на старшего на корпусного комиссара Сусайкова. Он стоял на лесной дороге, молодой небритый человек в надвинутой на глаза пилотке, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Я подошел к нему и по своей все еще не выветрившейся наивности спросил, где редакция газеты, в которой я мог бы работать, потому что я писатель и направлен в армейскую газету.

Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и сказал равнодушно:

– Разве вы не видите, что делается? Какая газета?!

Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта, вообще он ровно ничего не знал, так же как и все находившиеся вместе с ним в этом лесу.

В семь, когда солнце поднялось уже высоко, немцы снова начали бомбить и обстреливать это место. Приходилось ложиться, вставать, опять ложиться, опять вставать. Во время одного из таких лежаний я увидел прокурора. Оказывается, он лежал рядом со мной.

– Что ты делаешь? – спросил он меня.

Я сказал, что пока ничего.

– Ну, тогда будешь работать у нас, хорошо?

Я сказал «хорошо» и подсел к той кучке людей, которая пыталась здесь организовать военную прокуратуру. Кроме прокурора, тут были какой-то политрук с авиационными петлицами и еще несколько человек.

Кругом был мелкий лес и редкий березняк. Я вспомнил свой монгольский опыт и, так как мне уже надоело лежать плашмя на животе с чувством полной беспомощности, предложил достать лопаты; мы достали их, и под моим руководством работники свежеепеченной прокуратуры стали рыть щели, как мы рыли их в Монголии: в виде буквы «Г».

Часа через два, успев за это время по два раза перележать бомбежки, мы вырыли в песчаном грунте добротную глубокую и узкую щель. Только к концу этой работы я вспомнил, что уже двое суток почти ничего не ел и не пил. Меня клонило ко сну, должно быть, от усталости и голода. Я сел на краю щели, прислонился к березовому кусту и задремал. Лицо пригревало солнцем, и, как обычно бывает в такие минуты короткого и случайного сна, наспех снилось что-то очень приятное.

Среди этого сна снова началась трескотня пулеметов. Я автоматически, еще не проснувшись, прыгнул в щель. Самолеты шли над лесом бреющим, и вслед за мной в щель скатились люди. Не успел я окончательно проснуться, как мне на голову сыпалось что-то очень тяжелое и спросило женским голосом:

– Вам не тяжело?

– Не тяжело, – сказал я.

А женщина все еще сидела на моей шее, пытаясь как-то подвинуться, чтобы мне было легче, и от этого у меня трещали позвонки. Через пять минут, когда, сделав несколько кругов, самолеты ушли, я почувствовал, как тяжесть ослабела, и вылез из щели. Оказывается, на мне сидела довольно плотная санитарка. Она теперь стояла передо мной и робко извинялась: говорила, что все люди, всем жить хочется. Оставалось только согласиться.

События дня путаются у меня в голове. Я засыпал, потом стреляли, я лез в щель. Потом опять засыпал. Помню, как меня послали сопровождать каких-то двух людей – мужчину и женщину, – как я вышел на открытое место, стоял с ними у ограды, проверял их документы и выяснял с дотошностью доморощенного следователя, откуда они и как они сюда попали.

А в это время опять пошли над головой самолеты. Кругом все легли или побежали в лес. И мне хотелось сделать то же самое, но было неудобно. Я стоял и продолжал расспрашивать этих двух – мужчину и женщину, – которые, кажется, были больше напуганы моими расспросами, чем пулеметными очередями с воздуха.

Тут же, недалеко, у забора, шлепались пули, но нас не задевало, все обошлось благополучно.

Потом помню майора с обвязанной шеей – в него только что выстрелил по недоразумению какой-то командир, приняв его за диверсанта, и он волновался, обижался, кричал сердитым голосом, но это ни на кого не производило впечатления.

Я подошел к самой опушке, где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг в пяти шагах от меня на шоссе выскочил боец с винтовкой, с сумасшедшими, вылезающими из орбит глазами и закричал сдавленным, срывающимся голосом:

– Бегите! Немцы окружили! Пропали!

Кто-то из командиров, стоявших рядом со мной, закричал:

– Стреляй в него, в паникера! – и, вытащив револьвер, стал стрелять.

Я тоже вынул наган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему. Сейчас мне кажется, что это был, наверно, сумасшедший человек, с психикой, не выдержавшей страшных испытаний этого дня. Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него.

Очевидно, мы в него не попали, потому что он побежал дальше. Какой-то капитан выскочил ему наперерез на дорогу и, пытаясь задержать, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого выстрела, он, как затравленный, оглянулся и кинулся со штыком на капитана. Тот вытащил наган и уложил его. Три или четыре человека молча стащили тело с дороги.

Над шоссе опять пошли немецкие самолеты, и все снова легли на землю или в щели.

Потом помню двух человек – полкового комиссара и бриг-военврача, которые вели за собой через лес под командой человек полтора-два выпускников Военно-медицинской академии. Я так и не понял: не то они практиковались в Минске, не то их зачем-то под командой отправили в Минск, и теперь, потеряв по дороге уже двадцать человек во время бомбежек и обстрелов, они шли обратно на Оршу. Они искали начальство, просили им чем-нибудь помочь, но кто и чем мог им тут помочь? Им просто предложили идти дальше. И они так и сделали – пошли.

Потом еще через час военюрист подошел ко мне и сказал:

– Вы ведь, кажется, писатель?

Я сказал, что да.

– Вот помогите тут определить одного человека. Он по вашей части, если не врет. Он все документы и военный билет со страху порвал, но говорит, что работал в Союзе писателей в Минске. Может, это и правда?

Я подошел к этому человеку. Он был такой обросший, грязный, измученный, что по его виду нельзя было разобрать, сколько ему лет – тридцать или пятьдесят. Я стал расспрашивать его. Оказалось, что это работник Союза писателей в Минске, тот самый человек, который в мирное время доставал билеты на поезда и устраивал номера в гостинице.

Для очистки совести – хотя я ему сразу поверил – я стал выяснять у него какие-то подробности про Кондрата Крапиву: когда Кондрат Крапива ездил в Москву? Я сам никогда не видел Кондрата Крапиву, но вспомнил числа, в которые он весной должен был приехать на конференцию драматургов в Москву. Человек ответил на мой вопрос настолько точно, что сомнений не оставалось: он был именно тем, за кого себя выдавал.

А я вдруг вспомнил, как что-то совершенно дикое и нелепое, обсуждение своей пьесы «Парень из нашего города». Совсем недавно на конференции в клубе писателей доклад, выступления, какие-то споры. Все это сейчас, здесь, было невероятно странно.

Так как личность этого работника Союза писателей в Минске оказалась установленной, его не тронули, несмотря на отсутствие документов, а решили отправить в какую-нибудь часть, которая будет формироваться.

И он сидел тут же рядом с нами, сначала вместе с конвойными, которые его привели, а потом просто так, потому что все о нем уже забыли.

Следующий, с кем мне пришлось говорить, был девятнадцатилетний мальчишка – худой, небритый, с редко торчащими на подбородке волосками, с тонким и злым лицом, которое то казалось очень умным, то казалось лицом помешанного. Я так до конца и не понял, кем он был. Его привели из роты, стоявшей в соседнем лесу. Когда над рощицей проходили немецкие самолеты, он, несмотря на команду «Маскируйся!», вышел на середину поляны, встал на самом виду и начал размахивать руками. Ни окрики, ни призывы не помогали. Он продолжал делать свое. Когда его привели к нам, он продолжал с упорством маньяка твердить, что он попал к немцам и что все мы – немцы.

Военюрист подвел его ко мне и спросил:

– Ну вот кто это, по-вашему, стоит перед вами? Батальонный комиссар или нет?

– Нет, это немецкий офицер, – сказал парень.

– Но ведь у него знаки различия, разве вы не видите? Вот, – ткнул военюрист в мои шпалы. – Или это, по-вашему, погоны?

– Погоны, – с упорством сумасшедшего сказал парень.

– Вы понимаете, где вы находитесь? – спросил воен-юрист.

– Я у немцев. Все вы немцы, – сказал парень. И больше из него ничего невозможно было выжать. Его тоже отвели на опушку к нескольким густо росшим деревьям, где сидели остальные задержанные.

Мне самому казалось, что этот мальчишка тронулся.

Часов в пять дня, уже не помню зачем, мы вместе с воен-юристом вышли на самую опушку леса. Шагах в ста от нас стоял грузовик, а около грузовика высокий командир в форме пограничника. Вдруг раздалось гудение, потом свист. Все мы легли на землю – где кто был, – а этот командир-пограничник полез под свою машину.

Наверно, бомба была небольшая, разрыв был не особенно сильный, но она прямым попаданием угодила в машину. Когда мы поднялись с земли, вместо машины были только куски изогнутого железа, а по лужайке еще катилось колесо. Оно докатилось и упало около нас.

Я накинул на плечи шинель, потому что, несмотря на теплый день, озяб от голода и усталости, и пошел искать свою машину. Наверно, ее кто-то перегнал в другое место. А может быть, шофер самовольно уехал, не знаю. Искал ее часа полтора по всему лесу, но так и не нашел. Там, в машине, у меня были чемодан и притороченный к нему плащ. Но всего этого было не жаль, а жаль было только лежавшей в чемодане привезенной еще из Монголии меховой безрукавки – там, в Монголии, их называли забайкальскими майками – и двух трубок, лежавших в кармане этой безрукавки. Табак был в кармане брюк, а трубок не было. Я, собственно говоря, главным образом из-за них и пошел искать машину.

Вернулся, попробовал свернуть сигарку из газеты, но ничего не вышло – никогда не вертел.

Под вечер, часов в семь, военюрист сказал мне, что все-таки он должен искать штаб фронта, куда он командирован.

– А вы куда? – спросил он меня.

Я сказал, что мне нужно явиться в политуправление фронта.

– Ну что ж, тогда поедem вместе, – сказал он. – А по дороге вы мне поможете доставить арестованных до Орши.

Я согласился. По правде сказать, мне в тот момент было все равно – оставаться тут до утра или ехать. Хотелось только одного – спать.

Мы вышли на дорогу. По ней с запада на восток с небольшими интервалами шли грузовики, то полные, то пустые. Мы остановили один из них. С нами вместе останавливали эту

машину немолодой усталый полковник в пограничной форме и боец-пограничник. Они оба искали штаб пограничных войск.

Все мы сели в эту машину. Полковник рядом с шофером, а я, военюрист, один конвойный, боец-пограничник и пять задержанных – в кузов.

Сначала я дремал, но потом начались налеты и обстрелы, и мы то и дело вылезали из машины, ложились в кювет, снова влезали, снова вылезали. Надоело все это до невероятности. Но спать уже не хотелось. Неудобно сидя, трясясь на борту машины, я стал расспрашивать сидевшего рядом со мной, тоже на борту, парня – того, который всех нас называл немцами. Не помню точно, откуда он был, но он говорил, что в деревне у него мать, что он окончил десятилетку и был взят в армию. Говорил он туманно, и мне по разговору показалось, что отец его был из высланных кулаков. Он говорил то злобно, то бестолково, как настоящий сумасшедший. И по-моему, не притворялся.

– Ну хорошо, мы тебя отпустим, – сказал я. – Что ж ты будешь делать? Будешь драться с немцами?

– Нет, я поеду домой.

– Тебя возьмут там и расстреляют как дезертира.

– Ничего, все равно я поеду домой, – упрямо повторял он. – Я не хочу тут быть. Я хочу домой.

На все вопросы он отвечал злобно, грубо, так, что казалось, вот сейчас возьмет и укусит тебя. Его лицо и сейчас стоит у меня перед глазами, и я уверен, что мое ощущение было правильным. Он был одновременно и обозлен и ненормален.

По обеим сторонам шоссе между столбами все телефонные и телеграфные провода были порваны. Возле дороги лежали трупы. По большей части гражданских беженцев. Воронки от бомб чаще всего были в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, стороной, и немцы, быстро приспособившись к этому, бомбили как раз там, по сторонам от дороги. На самой дороге воронок было сравнительно мало, всего несколько на всем пути от Борисова до поворота на Оршу.

Как я уже потом понял, наверное, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и беспрепятственно и сознательно не портили дорогу.

Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки, молодые женщины, большей частью еврейки, судя по одежде, из Западной Белоруссии, в жалких, превратившихся сразу в пыльные тряпки заграничных пальто с высоко поднятыми плечами. Это было странное зрелище – эти пальто, узелки в руках, модные, сбившиеся набок прически.

А с востока на запад вдоль дороги шли навстречу гражданские парни. Они шли на свои призывные пункты, к месту сбора частей, мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами, и в то же время ничего толком не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга, полная неизвестность и неверие в то, что немцы могут быть здесь, так близко. Это была одна из трагедий тех дней.

Этих людей расстреливали с воздуха немцы, и они внезапно для себя попадали в плен.

Во время одного из лежаний под бомбежкой полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил где.

– А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник.

Он назвал фамилию – Шаповалов, и я вспомнил батальонного комиссара-пограничника, заходившего иногда в Москве к нам в клуб писателей. Полковник сказал, что этот писатель-пограничник во время бомбежки залез под свою машину и там его и убило. Я вспомнил машину, пограничника рядом с ней и понял, что был свидетелем этой смерти.

У полковника-пограничника был замученный вид. Мы опять лежали и ждали, пока немцы отбомбятся, и он сказал мне усталым голосом:



– Имею сведения, что все мои на заставах погибли. Дрались до последнего человека и погибли все, кто там был. А семья у меня там, около Граева. Жена, двое детей, мать и сестренка. Все, что есть на свете, все там.

У него было такое безысходное и безнадежно спокойное горе в словах, в голосе, в движениях, что было страшно на него смотреть.

Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска, стоявшие на позициях тут же, около дороги, в придорожных лесах. Тут были пулеметы, орудия, люди в касках и с оружием, походные кухни, вообще все то, что мне наконец напомнило армию такой, какой я ее раньше привык видеть. Впервые стало немного легче на душе.

В Оршу мы въехали уже часов в девять-десять вечера. Город был пустой, хотя слухи о том, что его разбомбили и сожгли, оказались неправдой. Упало несколько бомб, вылетели все стекла на нескольких центральных улицах, а все остальное было в этот день еще цело. Но в городе все было закрыто, и людей в нем я почти не видел.

Мы сначала пошли к железнодорожному коменданту узнать, есть ли поезда на Смоленск, потому что считали, что если штаб Западного фронта ушел из Минска, то он теперь, наверное, в Смоленске.

Оказалось, что поезда на Смоленск нет и неизвестно, когда он будет, хотя рано или поздно он должен быть.

Кто-то обратил внимание военюриста на ходившего по платформе пожилого капитана, высокого, аккуратно одетого и в желтых крагах. Кто-то сказал о нем, что этот капитан тут толчется уже второй день и беспрерывно заговаривает с гражданскими пассажирами. Сначала военюрист прошел несколько раз мимо капитана, намереваясь его задержать, но потом, видимо, понял, что, задержав сейчас тут этого человека, с ним можно сделать только одно из двух: или расстрелять, или отпустить. Ничего третьего не сделаешь. Он плюнул на эту историю и отошел от капитана.

Я еще раз посмотрел на капитана, продолжавшего ходить по платформе, и мне показалось, что, в сущности, подозревать его было не в чем, что это просто немолодой, замученный и оглушенный бестолковщиной этих дней, только что призванный из запаса командир, сидевший тут в ожидании какого-то поезда и ничего, так же как и мы, не знавший.

Мы продолжали топтаться на станции. Кто-то сказал, что скоро уйдет поезд на Витебск. Но нам туда ехать было ни к чему.

Станция была забита эшелонами с самым разным народом. Было много военных, но еще больше беженцев. И никто ровно ничего не знал. Все толпились, суестились, нетерпеливо спрашивали, куда и когда пойдут поезда. Но некоторые, видимо, уже притерпелись и отупело сидели на лавках, ожидая, что кто-то их подберет и увезет.

Полковник-пограничник отделился от нас. Кто-то сказал ему, что штаб пограничных войск в Витебске, и он побежал выяснять, ушел уже поезд на Витебск или еще не ушел. А мы с военюристом пошли к коменданту города.

По дороге с вокзала к коменданту мы наткнулись на какой-то склад около вокзала. Бородатый человек вытащил нам из темноты две буханки хлеба, банку килек и несколько пачек папирос. Судя по тому, как он привычно это делал, очевидно, он весь день занимался этим – раздавал понемногу всем, кто к нему подходил, все, что у него было.

Мы взяли поесть себе и, вернувшись, дали поесть арестованным. Я считал, что этого сумасшедшего парня, которого мы привезли, наверно, расстреляют, и у меня было странное чувство, когда я смотрел на него и видел, с какой жадностью жует он хлеб и как он чуть не ударил другого арестованного, не поделив с ним пачку папирос.

Раздав продукты задержанным, мы все-таки пошли к коменданту города. Комендатура находилась в подвале школы. Там стояло несколько телефонов, сидели военный диспетчер и

два майора-железнодорожника. В подвале стоял сплошной хриплый крик по телефону. Наконец, на минуту оторвав одного из майоров, мы спросили у него, будет ли поезд на Смоленск.

– Сейчас скажу, – ответил он и бросился к телефону, к которому его вызвали. Он слушал то, что ему говорили, и лицо его все больше искажалось. Потом раздалась длинная пятиэтажная ругань. – Не будет поезда, – сказал он нам, оторвавшись от телефона. – Не будет. Вот мне только что сообщили: по дороге на Смоленск немцы разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути заняты. Вагоны рвутся. В двадцати шести километрах отсюда. Не будет никакого поезда на Смоленск.

Мы начали спрашивать коменданта, что нам делать с задержанными. Комендант не знал. В городе не было никаких властей, которые могли бы этим заняться.

Мы с военюристом вышли во двор. Уже совсем темнело. По улице под командой лейтенанта шла группа человек в пятьдесят бойцов, отбившихся от своих частей. Мы остановили лейтенанта и узнали, что он ведет их в расположение какой-то части, чтобы присоединиться к ней. Тогда, не видя другого выхода да и не ища его, мы взяли четырех из пяти задержанных – всех, кроме сумасшедшего парня, – и, поговорив с лейтенантом, присоединили их к этой колонне. Их должны были теперь доставить в часть и выдать им оружие.

Тогда мы колебались. Но теперь я думаю, что это был самый правильный выход. Это были просто растерянные люди, никакие не преступники. Им нужно было только одно – найти часть и взять в руки винтовки.

Через минуту колонна скрылась из виду. А на сумасшедшего парня мы написали сопроводительную записку и все-таки заставили коменданта принять его и посадить в одну из подвальных комнат с часовым впредь до выяснения того, где же все-таки находится в Орше трибунал, НКВД или хоть что-нибудь.

Пока мы были в комендатуре, к коменданту явились три мальчика лет по пятнадцати – шестнадцати, воспитанники авиационной спецшколы. Они просили сказать, по-прежнему ли находится их спецшкола там, где она находилась, и назвали место. Еще накануне в Борисове мне говорили, что там, в этом месте, шел бой с немцами.

Комендант сказал мальчикам, что они могут идти к себе в спецшколу, потому что там, несомненно, наши. Я промолчал, но, когда ребята вышли во двор, я подзвал их и спросил, откуда они и как сюда попали. Выяснилось, что они от своей школы ездили в Москву, кажется, для подготовки к какому-то параду, и теперь не знают, что же делать. У них нет ни командировочных предписаний, ни денег, ничего.

Они, наверно, давно ничего не ели. У них были похудевшие лица и отчаянные глаза. Стояли худые и несчастные, как галчата, в своих аккуратненьких шинельках. И было их жаль почти до слез. Не объясняя подробностей, я сказал им, что разыскать школу сейчас нет смысла, что им надо искать какой-нибудь штаб и вступать добровольцами в армию. Один из них с радостью стал говорить мне, что он хорошо знает бодо и может работать военным телеграфистом.

Я посоветовал им, если они успеют, сесть в тот поезд, который должен отойти на Витебск, потому что в Витебске есть какой-то штаб. У меня была острая жалость к ним. Я боялся, что эти три мальчика пойдут вперед и ни за что ни про что попадут к немцам, разыскивая свою школу.

Потом я сообразил, что у них нет денег и им не на что будет покупать еду, пока они доберутся до Витебска и попадут в какую-нибудь часть. Я спросил, сколько у них денег. Они ответили, что у них шестнадцать рублей на троих, и я отдал им половину своих денег. Ребята сначала гордо отказывались, но я приказал им, и они взяли, сказав, что непременно когда-нибудь вернут мне эти деньги и поэтому хотят знать мою фамилию. Я назвал ее и пошутил, что после войны они могут зайти в Москве в клуб писателей и спросить там меня.

Оказалось, ребята читали мои стихи, и у нас возник странный пятиминутный разговор о стихах в этой пустой, разбитой Орше. Ребята почему-то обрадовались, что я писатель. Может быть, им стало спокойнее оттого, что вдруг оказалось, что эта Орша настолько тыловой город, что в нем есть даже писатели. Не знаю, так ли, но, когда я стал с ними прощаться, они немножко приободрились.

Они пошли, а я их провожал глазами. Бог его знает, почему мне было так грустно. Почему-то показалось, что ребята эти непременно пропадут.

Ночью мы опять пришли на станцию. К этому времени выяснилось, что, может быть, отсюда пойдет поезд на Могилев.

Свет нигде не горел. Отправление составов было связано с полной тайной и полной неизвестностью. Наконец нам шепотом сказали, что где-то за водокачкой, налево, стоит состав, который, может быть, пойдет на Могилев.

Нас набралось человек десять командиров. Старшим был высокий артиллерийский полковник с орденом Красного Знамени. Мы пошли по путям мимо паровозов и бесконечных составов. По всем путям бродили люди – военные и беженцы. Увидев нашу группу, они сейчас же бросались к нам, спрашивали, куда мы едем, куда хотим садиться, в какой поезд. Но мы и сами толком еще не знали этого и молчали.

Потом началась воздушная тревога. Заревели все паровозы, стоявшие на путях, а их тут было, наверно, около сотни. Весь день, когда нас бомбили, не было так страшно, как было страшно сейчас, когда кругом нас на путях, выпуская белый пар, ревели паровозы. Рев их был чудовищный, тоскливый, бесконечный. Он продолжался несколько минут, а нам показалось, что целый час.

Наконец мы добрались до засыпанного углем откоса и там легли рядом, чтобы обсудить положение. Посоветовавшись, решили во что бы то ни стало искать поезд, уходящий на Могилев. Большинство считало, что если там и не было фронта, то хотя бы штаб одной из армий там должен быть.

Все командиры были расстроены и подавлены тем, что где-то идут бои, где-то дерутся их части, а они никак не могут попасть туда из отпусков и не могут даже понять, как это сделать. Во всяком случае, в такой обстановке единственным способом попасть в свои части было найти сначала хоть какой-нибудь штаб – фронта или армии. На том и порешили.

Особенно волновался артиллерийский полковник. Он ехал с назначением начальником артиллерии дивизии. Как мне показалось, это был деловой и решительный командир, и он невыносимо страдал от своей бездеятельности, оттого, что ничего нельзя понять.

Прождав с час, пошли опять по путям в поисках состава на Могилев. Наконец стрелочник показал нам на темневшие вдали вагоны и сказал, что вот эти вагоны потом пойдут на Могилев. Не в силах больше бродить и решив – будь что будет, мы залезли на этот состав.

На платформах стояло два новеньких автобуса. Мы влезли в один из этих автобусов. Я присел на холодное сиденье, прислонился к окну и моментально заснул.

Не забуду своего первого утреннего ощущения; я открыл глаза и увидел, что еду на автобусе, а в автобусе, рядом со мной и впереди меня, сидят военные, а по обеим сторонам от нас бежит зеленая равнина. В первые секунды, спросонок, у меня было полное ощущение, что я еду по шоссе. Только потом, вспомнив все, что было ночью, я понял, что движется наш поезд.

Было восемь утра. Светло. Ясная, свежая погода после дождя. Кто-то сзади меня сказал, что мы подъезжаем к Могилеву...

Так кончились для меня первые двое суток, проведенных между Борисовом и Могилевом, в сумятице всего того неожиданного, неизвестного, непонятного, что обрушилось на головы многих тысяч людей, в том числе и на мою.

Как я уже упоминал в предисловии, кое в чем из пережитого на войне мне пришлось дополнительно разбираться уже задним числом, сейчас, готовя дневники к печати и загляды-

вая в архивы для уточнения некоторых фактов того времени и некоторых своих тогдашних суждений.

Первое из уточнений относится к тому месту дневника, где идет речь о немецких десантах и о том, что 26 июня немцы уже обошли Минск и вышли на железную дорогу между ним и Борисовом.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указывается, что немцы достигли автостреды Минск – Москва своими подвижными частями только 28 июня. Сведения, видимо, запоздалые; на захваченной нами впоследствии карте немецкого генерального штаба обозначено, что 7-я танковая дивизия немцев перерезала Минское шоссе в районе Смолевичей, на полдороге между Минском и Борисовом, уже к вечеру 27 июня.

Слухи, о которых я говорю в дневнике, опередили действительные события на сутки, и, когда мы 26 июня ездили заправляться бензином из Борисова по направлению к Минску, тревога, что мы можем заехать к немцам, была неоправданной.

Со странным чувством разглядывал я в нашем военном архиве захваченные нами в Цоссене, под Берлином, в 1945 году пожелтевшие трофейные карты германского генерального штаба. Смотрел на уверенные, все глубже врезавшиеся в нашу землю стрелы и думал о немецких генштабистах, когда-то, в июне сорок первого, наносивших на эти отчетные карты обстановку по первым торжествующим донесениям с Восточного фронта.

Мне довелось побывать в Польской Народной Республике, в районе так называемого Вольфшанце – Волчьего логова, где перед началом войны размещалась ставка Гитлера. В глухом сыром лесу циклопическое нагромождение взорванных и опрокинутых многометровых бетонных плит. Все это немцы взорвали своими руками осенью 1944 года, накануне нашего вторжения в Восточную Пруссию. Но именно отсюда, из этих нынешних развалин, Гитлер тогда, в начале войны, руководил войной на востоке. Именно здесь клали перед ним тогда на стол эти карты с последней, казалось, наилучшим образом складывавшейся обстановкой. А теперь эти же самые карты, одну за другой, приносила мне для ознакомления тихая девушка-архивариус в подмосковном городе Подольске, до которого в конце сорок первого немцам, казалось, было рукой подать...

Приведенный мною в дневнике рассказ о вытащенном из кабины нашего истребителя полусгоревшем труп немецкого летчика сейчас кажется мне маловероятным, хотя сообщения о схожих случаях можно разыскать в архивных документах того времени, например в приказе начальника штаба 21-й армии от 13 июля 1941 года: «Противник использует захваченные у нас самолеты для действия по нашим частям, бомбардируя и обстреливая с бреющего полета».

Тогда я думал, что немцы могли захватить эту тройку наших И-15 и наскоро научить летать на них своих летчиков. Но вряд ли это правда. Немецкие истребители в те дни хозяйничали в воздухе, и посылать немецких летчиков в воздух на самом устарелом типе наших истребителей И-15 – значило подвергать их совершенно реальной опасности быть сбитыми собственными «мессершмиттами».

То, что рассказывали мне люди, вытащившие из кабины полуобгорелый труп якобы немецкого летчика, наверно, просто-напросто отвечало их душевной потребности. Они не могли примириться с тем, что первые увиденные ими за день наши самолеты по ошибке нас же и обстреляли с воздуха. Поверить в это было нестерпимо тяжело, отсюда и родилась версия о трупе немецкого летчика.

Что касается истребителей И-15, то они по своим данным считались устарелыми машинами еще в 1939 году на Халхин-Голе. В начале халхин-гольского конфликта их особенно часто сбивали японцы, и вскоре был отдан специальный приказ выпускать их в воздушные бои только вместе с другими, по тому времени более совершенными нашими истребителями.

Когда на Халхин-Гол прибыла группа наших летчиков – «испанцев» – на новых истребителях И-153, похожих очертаниями на И-15, но с убирающимися шасси и с большей ско-

ростью, то в первом же воздушном бою было сразу сбито больше десятка японских истребителей, ошибочно посчитавших, что они встретились один на один с И-15, и нарвавшихся на неожиданный для себя отпор.

Поистине надо преклониться перед мужеством тех наших летчиков, которые в сорок первом году, не колеблясь, вступили на этих И-15 в бой с «мессершмиттами».

И-15, взятый нами на вооружение в 1935 году, располагал скоростью 367 километров, а «Мессершмитт-109», принятый немцами на вооружение в 1938–1939 годах, скоростью 540 километров; потолок был соответственно – 9000 и 11 700 метров; мощность моторов – 750 и 1050 лошадиных сил; калибр пулеметов – 7,62 миллиметра и 20 миллиметров.

По другим типам наших истребителей – И-16, И-153, который был на Халхин-Голе еще новинкой, – соотношение технических данных по сравнению с «мессершмиттами» к 1941 году складывалось не столько разительное, но тоже достаточно тяжелое для нас. Разница в потолке около двух тысяч метров и в скорости около ста километров. А все эти вместе взятые – одни более, другие менее устарелые – машины, к несчастью, все еще составляли к началу войны подавляющую часть нашей истребительной авиации.

А теперь несколько дополняющих дневник страниц о двух людях, встреченных мною тогда, в первые дни войны, – полковнике А.И. Лизюкове и корпусном комиссаре И.З. Сусайкове.

Архивные документы рассказали мне, что полковник Лизюков, ехавший вместе с сыном в одном вагоне со мной и на моих глазах наводивший порядок под Борисовом, воевал там еще двенадцать дней – до 8 июля 1941 года. О том, что он делал, пожалуй, точнее всего повествует выписка из наградного листка.

«Фамилия – Лизюков Александр Ильич.

Звание – полковник.

Год рождения – 1900.

Краткое содержание подвига. С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из командиров, отставших от своих частей, в момент беспорядочного отхода подразделений от города Минска, товарищ Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости, инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени».

Деятельность Александра Ильича Лизюкова была тогда оценена по достоинству. Он оказался одним из первых наших командиров, награжденных в начале войны на Западном фронте и получивших звание Героя Советского Союза.

Под Москвой он командовал 1-й мотострелковой дивизией, а весной 1942 года был назначен командиром 2-го танкового корпуса.

В эти дни, когда он приехал в Москву за назначением, я видел его во второй и последний раз.

В личном деле А.И. Лизюкова, касающемся довоенных времен, указано, что осенью 1935 года он около месяца был во Франции членом нашей военной делегации на маневрах французской армии. Потом командовал танковым полком и бригадой, а перед самой войной был заместителем командира 36-й танковой дивизии, в которую, видимо, и ехал, когда мы встретились с ним в вагоне.

Там, где я пишу в дневнике о своей встрече с Сусайковым, наряду с недоумением перед всем, что делалось кругом, присутствует надежда, что все это случайность, что все это вот-

вот, не сегодня-завтра будет поправлено. Это чувство мне и теперь, издали, хорошо понятно. Основанная на всем нашем воспитании страстная вера, что так не может, не имеет права быть, толкала нас в первые дни на поиски более легких объяснений происходящего на наших глазах, чем те, которые содержала в себе действительность.

Корпусной комиссар Сусайков, у которого я имел наивность спрашивать посреди леса, где мне искать редакцию газеты, не мог знать, где находятся штаб и политуправление фронта, которые как раз в тот день перемещались, были в пути от Минска к Могилеву. Он узнал об этом лишь на следующий день из приказа, направленного ему штабом фронта уже из Могилева.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 28 июня есть текст этого распоряжения корпусному комиссару Сусайкову, согласно которому на него, как на начальника Борисовского танкового училища, была возложена оборона района Борисова.

Иван Захарович Сусайков, прежде чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танкового батальона московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании капитана окончил Бронетанковую академию.

Группе войск, которую сколотили два танкиста – Сусайков и Лизюков, – и частям воевавшего под Борисовом 44-го корпуса удержать город не удалось, но, оставив Борисов, они в последующие дни продолжали вести в этом районе тяжелые бои с немцами.

После ранения под Борисовом Сусайков вернулся на полит работу и кончил войну генерал-полковником танковых войск, членом Военного совета Второго Украинского фронта и председателем Союзной контрольной комиссии в Румынии.

В дневнике сказано о том чувстве облегчения, которое я испытал, увидев 27 июня наши войска, стоявшие вдоль рокады. К этому надо добавить то, чего я тогда не знал: у поворота на Оршу я увидел в тот день одну из дивизий, входивших в группу резервных армий, созданных по решению Ставки еще 25 июня.

К 28 июня эти войска должны были полностью занять тыловой рубеж Витебск – Орша – Могилев.

Создание группы резервных армий было результатом того, что в Ставке уже пришли к выводу, что наш Западный фронт не сможет один остановить продвижение немцев. Надо было выиграть время, и, в частности, именно ради этого приказывалось действовавшей там, впереди на Минском шоссе, борисовской группе возможно дольше задерживать немцев на Березине.

Лишь через двадцать пять лет, готовя том стихов для собрания сочинений, я наткнулся на листки из блокнота, очевидно, самого первого из всех, что сохранились со времен войны. На одном из этих листков оказались неоконченные и совершенно забытые мною стихи. Я так и не вспомнил, в какой именно день и при каких обстоятельствах я наспех нацарапал их в блокноте. Но одно было для меня несомненно – стихи были написаны на Западном фронте в первые дни войны и именно об этих первых днях:

Июнь. Интендантство. Шинель с непривычки – длинна.  
Мать застыла в дверях. Что это значит?  
Нет, она не заплачет. Что же делать – война!  
– А во сколько твой поезд?  
И все же заплачет.  
Синий свет на платформах. Белорусский вокзал,  
Кто-то долго целует.  
– Как ты сказал?  
Милый, потише...  
И мельканье подножек,  
И ответа уже не услышать.  
Из объятий,

Из слез,  
Из недоговоренных слов  
Сразу в пекло, на землю,  
В заиканье пулеметных стволов.  
Только пыль на зубах  
И с убитого каска: бери!  
И его же винтовка: бери!  
И бомбежка.  
Весь день.  
И всю ночь, до рассвета.  
Неподвижные, круглые, желтые, как фонари,  
Над твоей головою – ракеты.  
Да, война не такая, какой мы писали ее,  
Это горькая штука...



## Глава вторая

...Было утро 28 июня. До Могилева мы добрались часам к десяти утра. Поезд остановился на каких-то дальних путях. Мы слезли и только тут почувствовали, как проголодались. Пошли скопом в железнодорожную столовую, где всем приходящим военным бесплатно давали похлебку и мясо.

Из столовой двинулись через город к военному коменданту. Там, на другом конце города, недалеко от моста через Днепр, на широкой площади, где стояли какие-то старые пушки, толпу вернувшихся из отпусков командиров человек в двести стали делить по специальностям. В одном месте строились пехотинцы, в другом – артиллеристы, в третьем – связисты, в четвертом – политсостав. После этого деления я и военюрист оказались совсем отдельно, вдвоем.

Я добрался до начальника Могилевского гарнизона, полковника, который после того, как мы с военюристом предъявили свои бумаги, сказал нам, что штаб Западного фронта находится далеко от Могилева. Надо вернуться обратно на ту сторону через мост и идти налево по шоссе на Оршу.

Мы перешли мост и вскоре по дороге остановили «эмку» с командиром-связистом. Вся «эмка» была завалена гранатами и капсюлями. Он посадил нас, и мы, трясаясь в ней среди гранат, добрались до леса, в который уходили недавно наезженные дороги.

Было уже часа два дня. Погода испортилась, день стоял туманный и дождливый, было мокро, сыро и серо. Пройдя метров шестьсот, мы добрались до гущи леса. Там, на склонах холмов, устраивался, очевидно, только что приехавший сюда штаб. Красноармейцы торопливо вкапывали в землю автобусы и машины, маскировали их срубленными ветками.

На дороге, под дождем, стояли дивизионный комиссар в кожаном пальто и рядом с ним несколько политработников. Я обратился к дивизионному комиссару, который оказался начальником политуправления Лестевым, и представился. Рядом с Лестевым, как выяснилось, стояли редактор фронтовой газеты Западного фронта Устинов и редактор армейской газеты 10-й армии Лещинер.

Как только я представился, между обоими редакторами начался сдержанный спор вполголоса о том, куда меня взять, потому что ни где 3-я армия, ни где газета 3-й армии, в которую я был командирован, здесь никто не знал. В конце концов было решено, что я пока останусь работать во фронтовой газете.

Сидя под дождем на крыле «эмки», Устинов и я закусили сухарями с кильками. Я совершенно забыл об этой банке килек, которая лежала у меня в кармане шинели. В те дни всем нам вообще казалось, что еда – это случайность.

В дальнейших разговорах с редактором выяснилось, что газета печатается в Могилеве, что сегодняшнюю газету сюда еще не привезли, что из работников почти никого нет, еще не приехали, что редактор будет их встречать, а я – он сунул при этом мне в руку кипу заметок – должен сейчас же ехать в могилевскую типографию, обработать эти заметки и сдать в полосу.

Начинало темнеть. Я уже собрался ехать, когда вдруг из лесу выскочило несколько машин, впереди длинный черный «паккард». Из него вылезли двое. Все это происходило в нескольких шагах от меня. Лестев вытянулся и начал рапортовать:

– Товарищ маршал...

Вглядевшись, я узнал Ворошилова и Шапошникова. Меня радовало, что они оба здесь. Казалось, что наконец все должно стать более понятным. Я обошел стороной стоявшее на дороге начальство, сел в редакционную полуторку и поехал назад, в Могилев.

Все кругом было полно слухов о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля. Шофер нервно спросил, есть ли у меня оружие.

Пока мы ехали, стало уже совсем темно. Я вынул наган и положил на колени. Когда по дороге проверяли документы или просто спрашивали, кто едет, остановив машину, я левой рукой показывал документы, а правой держал наган. Потом у меня это вошло в привычку.

Мы приехали в типографию ночью. Там же, в типографии, помещалась редакция фронтовой газеты на немецком языке. В нашей редакции мы застали там машинистку и выпускающего, больше никого не было. Я сел готовить материал и к ночи, отдиктовав все, что мог, сдал в набор.

Никто ничего не ел, и как-то даже не хотелось. Часа в два ночи я лег спать на полу, положив под голову шинель. Меня разбудил дневальный:

– Товарищ батальонный комиссар, к телефону.

Еще толком не проснувшись, я подошел к телефону. По телефону спросили:

– Товарищ Симонов?

– Да.

– Это говорит Курганов. Сейчас приеду к вам.

Мне было совершенно все равно, приедет ко мне кто-нибудь или не приедет, только бы поскорее снова уснуть. Не вдаваясь в расспросы, я сказал звонившему человеку, чтобы он приезжал, и снова лег спать. Проснулся я оттого, что меня тряс за плечи Оскар Эстеркин, в газете подписывавшийся Кургановым. Я давно его знал, но мне просто не пришло в голову, когда он говорил по телефону, что это тот самый Курганов. Точно так же, как и ему, когда он дозвонился до типографии «Красноармейской правды», не пришло в голову, что батальонный комиссар Симонов, который спит и которого он велел разбудить, это именно я.

Оскар был точно такой же, каким я привык его видеть в Москве в редакции «Правды», у Кружкова, или в театрах, и премьерах. Казалось, он все еще пишет свои театральные рецензии. На нем были кепка, измятый полосатый штатский пиджачок с орденом «Знак Почета» за полярные экспедиции, измятые брюки и стоптанные полуботинки.

Как выяснилось, именно в таком вот виде он попал 24 июня ночью в горящий Минск, а потом шел оттуда до Могилева – без малого двести километров – пешком и видел все творившееся на дорогах. Видел еще больше, чем я. Его приютили у себя секретари ЦК Белоруссии, которые приехали сюда и жили в каком-то доме под Могилевом. Оттуда он и дозвонился, обрадовавшись, что нашел газету.

Мы проговорили два часа и заснули под утро.

Утром нас разбудил Устинов, предложивший ехать вместе с ним в штаб. В буфете оказались тульские пряники и свежее могилевское пиво. Мы пили его, закусывая пряниками. Вечером этого же дня в первую бомбежку Могилева пивоваренный завод был разбит.

Приехав в штаб, пошли информироваться в оперативный и в разведотдел. В лес, где он размещался, в общем, можно было пройти. Зато, попав туда, никто не мог найти, где какой отдел. Получалась конспирация шиворот-навыворот. Все это уладилось только потом, когда штаб стоял уже в Смоленске. А здесь надо было бродить часами в поисках того, что тебе нужно. Отделы штаба стояли в лесу, в палатках, а некоторые размещались прямо на машинах и около машин.

Первые бомбежки и обстрелы дорог приучили к маскировке, и маскировались в эти дни быстро и ловко. Нам рассказали, что сбиты два немецких бомбардировщика и захвачен летчик. Насколько я понял из разговоров, здесь это был первый пленный летчик.

Летчика привезли в штаб только к ночи. Это был фельдфебель с Железным крестом – первый немец, которого я видел на войне. Я шел вместе с несколькими работниками политотдела и четырьмя конвоирами, которые вели этого немца, раненного в спину.

Мы никак не могли в темноте найти разведотдел. Пока другие пошли искать его, я с конвоирами и одним политработником остался с немцем. Немца положили на траву. Он лежал с завязанными глазами и стонал. Я перекинулся с ним несколькими словами на своем убогом

немецком языке. Он сказал, что ему больно, холодно, и попросил разрешения сесть. Мы его посадили.

Этот первый немец был событием. Все толпились вокруг него. Кто-то сказал, что его уже допрашивал сам маршал. Какой из маршалов, я не понял.

Накрывшись шинелью, я закурил. Огонек под шинелью едва тлел, но какое-то проходившее мимо начальство страшно закричало: «Кто курит?!»

Наконец разведотдел нашли. Немца привели в маленькую палатку, где при свете ручного фонаря, придерживая и оттягивая к земле полы палатки, чтобы не просвечивало, скорчившись, долго его допрашивали.

Это был первый увиденный мною представитель касты гитлеровских мальчишек, храбрых, воспитанных в духе по-своему твердо понимаемого воинского долга и до предела нахальных. Очевидно, именно потому, что он был воспитан в полном пренебрежении к нам и вере в молниеносную победу, он был ошарашен тем, что его сбили. Ему это казалось невероятным.

В остальном это был довольно убогий, малокультурный парень, приученный только к войне и больше ни к чему. Ландскнехт и по воспитанию и по образованию. Самое интересное было то, что, будучи сбит у Могилева и имея компас, он пошел не на запад, а на восток. Из его объяснений мы поняли, что по немецкому плану на шестой день войны немцы должны были взять Смоленск. И он, твердо веруя в этот план, шел к Смоленску.

Вернулся я в редакцию ночью. Опять на грузовике. Опять наган на коленях. И бесконечные контроли на дорогах.

Могилев бомбили. Немецкие и наши самолеты кружились над домами. Наборщик типографии, старый еврей, во время бомбежек несколько раз лазил на крышу. Он говорил, что бомба непременно пройдет через такую слабую крышу и разорвется внизу. Мы над ним смеялись, хотя он был не так далек от истины. Днем, в пять часов, была сильная бомбежка. Стоял рев моторов. Дрожали стекла, бухали взрывы. Но мне было все до такой степени безразлично, что я не мог заставить себя подняться с пола типографии, где мы лежали во время бомбежки, и посмотреть в окно. Хотя по звукам казалось, что самолеты летают буквально над нашим домом.

Ночью мы с Кургановым тоже сидели в типографии. Остальные работники редакции съехались, но ночевали где-то в палатках. Что до меня, то я предпочитал ночевать в типографии – по крайней мере, здесь был сухой пол. А к бомбежкам после первых трех суток войны я был почти равнодушен.

Настроение у меня было отчаянное. С одной стороны, газеты и радио сообщали об ожесточенных танковых боях, о сдаче каких-то небольших городков на границе – о Минске не упоминалось, сообщалось только о взятии Ковно и, кажется, Белостока. А между тем тут, в Могилеве, уже ходили слухи, что бои идут под Бобруйском и под Рогачевом. А что Борисов взят немцами, это я точно знал сам. Создавалось такое ощущение, что там, впереди, дерутся наши армии, а между нами и ними находятся немцы. Так потом в действительности здесь, на Западном фронте, и оказалось. Только с той разницей, что большинство этих наших армий было окружено и выходили они частями. Но, сидя здесь, в Могилеве, ничего нельзя было понять.

По утрам через Могилев тянулись войска. Шло много артиллерии и пехоты, но, к своему удивлению, я совсем не видел танков. Вообще на Западном фронте до 27 июля я своими глазами так и не увидел ни одного нашего среднего или тяжелого танка. А легких видел довольно много, особенно 4–5 июля на линии обороны у Орши, о которой тогда говорили как о месте будущего второго Бородин.

Поражало, что в Могилеве по-прежнему работали парикмахерские и что вообще какие-то вещи в сознании людей не изменились. А у меня было такое смутное состояние, что казалось, все бытовые привычки людей, все мелочи жизни тоже должны быть как-то нарушены, сдвинуты, смещены...

Прерву дневник для того, чтобы сделать несколько примечаний к сказанному в нем.

Встреченный мною в лесу около штаба дивизионный комиссар Дмитрий Александрович Лестев, начальник политуправления Западного фронта, решивший мою судьбу своим приказом – работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда», был одним из тех людей, о которых в противоречивой обстановке войны самые разные люди неизменно вспоминали как о справедливом, храбром и прямом человеке и, характеризуя при этом его качества политработника, часто употребляли слова: «Это был настоящий комиссар». В строгом смысле слова, он по своей должности не был комиссаром, и эти слова были просто данью его высоким политическим и человеческим качествам.

Лестев был убит осенью 1941 года, в дни боев за Москву, осколком бомбы.

Слухи о диверсантах и парашютистах, опасения, которые я испытывал, возвращаясь из штаба фронта в Могилев, не были такими уж неосновательными, а готовность в случае чего стрелять первым в той обстановке, пожалуй, была благоразумной. Приведу несколько выдержек из документов того времени:

«Неизвестный командир остановил машину с командным составом штаба, заявив им, что они шпионы, и пытаясь расстрелять...»

«26 июня 1941 г. в 23 ч. 15 мин. по дороге в Борисов на автомашину, следовавшую с мобилизационными документами Слуцкого и Стародорожского райвоенкоматов, напала диверсионная банда. Имеются убитые...»

В документе, составленном начальником разведотдела штаба 21-й армии и озаглавленном «Краткие сведения по тактике германской армии. Из опыта войны», дается первая попытка обобщения складывавшегося опыта: «Отдельные диверсионно-десантные группы одеваются в красноармейскую форму командиров Красной Армии и НКВД... проникая в районы расположения наших частей. Они имеют задачу создавать панику и вести разведку».

Сказанное подтверждается немецкими данными о действиях подразделений особого полка «Бранденбург»; в частности, мост у Даугавпилса был захвачен диверсантами из этого полка, переодетыми в красноармейскую форму.

А в общем, оглядываясь на те дни, можно прийти к выводу: было и то и другое. В одних случаях действовали немецкие диверсанты, а в других – в обстановке тяжелого отступления и распространившихся слухов об обилии немецких диверсантов – свои задерживали своих.

Но в одной и той же неразберихе разные люди вели себя по-разному. Порой диаметрально противоположно.

В одном из политдонесений того времени рассказывается, как заместитель начальника воинского склада № 846 батальонный комиссар Фаустов, добравшийся после объявления войны с курорта в горящий Минск, увидев, что его склад покинут, организовал вокруг себя командиров-отпускников и отставших от разных частей красноармейцев, вооружил их и с боями вывел из окружения отряд общим числом ни много ни мало – 2757 человек.

И такое тоже было.

Несколько слов в связи с допросом немецкого летчика, о котором я пишу в дневнике. Я так и не нашел документального подтверждения, что с ним действительно разговаривал один из маршалов. Но протокол его допроса в разведотделе фронта я обнаружил. И пожалуй, стоит сопоставить выдержки из этого документа с непосредственным впечатлением, сложившимся у меня тогда, потому что речь, видимо, идет об одном и том же человеке:

«Опрашиваемый Хартле, служил четыре года в германских ВВС, в последней должности – в качестве радиста на борту бомбардировщика и дальнего разведчика «Хейнкель-111», который был подбит 23.VI.41 зенитной артиллерией под Слонимом во время первого полета над советской территорией.

Экипаж самолета, состоявший из командира машины капитана Хиршауэра, старшего фельдфебеля Потта, старшего фельдфебеля Индреса, фельдфебеля Функе и самого опрашиваемого Хартле – пять человек, – выполнял задачу по разрушению коммуникаций в тылу за линией фронта.

Самолет получил серьезное повреждение мотора от огня зенитной артиллерии при первом полете над территорией СССР, имея полную бомбовую нагрузку. Не выполнив задачи, самолет сбросил бомбы в открытое поле и совершил посадку с катастрофой, при которой легко раненым оказался допрашиваемый Хартле...

Экипаж самолета принадлежал эскадрилье, прибывшей из Франции...

О летных и других качествах прочих германских самолетов ничего не знает, так как летал только на «Хейнкеле-111». Участвовал в боях в Польше, Франции и Англии. За боевые заслуги во Франции награжден орденом Железного креста...

На вопрос о политико-моральном состоянии германской армии ответил, что настроение солдат и офицеров хорошее, боевое...

Перспективы войны с СССР рассматривает как полную победу Германии и что такого же мнения все солдаты в армии Германии. Офицеры разъясняют солдатам, что Германия не имела территориальных претензий к России, что все в Германии встретили с неожиданностью и даже с ошеломлением войну между Германией и Россией. Солдатам и офицерам разъяснили только одно, что отражено в приказе Гитлера, это факт сосредоточения Россией 160 дивизий против Германии с целью напасть на нее сзади.

На вопрос, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию, отвечает, что народ Германии хорошо встретит народ России, так как из опыта войны в Польше и во Франции ему известно, что после поражения этих стран народы быстро сдружились, дружат и солдаты. Если воюют между собой государства и правительства, то, по его мнению, это не дает оснований к вражде между народами...

На вопрос, что ему известно о рассуждениях Гитлера в книге «Майн кампф» об Украине, ответил, что он такой книги не читал...

Опрашивал: военный переводчик разведотдела штаба Западного фронта интендант 2-го ранга (подпись неразборчива), младший лейтенант (подпись неразборчива)».

Прочитав сейчас этот протокол, я задумался над неожиданным вопросом наших разведчиков: как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию?

На вопрос, который, наверно, показался ему просто-напросто нелепым, пленный ответил ни к чему не обязывающей риторической ложью. В его голове в те дни вообще вряд ли умещалось, что Советская Армия через какое бы то ни было время может действительно вступить на их германскую территорию!

И не приходилось осуждать его за недалекость. Не только он, но и наступавшие тогда по сорок – шестьдесят километров в сутки Гудериан и Гот, и уже вышедший передовыми частями к Березине командующий 4-й армией Клюге, и главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, и начальник Генерального штаба сухопутных войск Гальдер – что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, – никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта «полностью разгромленная» ими на Восточном фронте Советская Армия когда-нибудь вступит на территорию Германии.

О Гитлере не приходилось и говорить. Всего через неделю после того, как пленный разговаривал с нами под Могилевом, Гитлер в одной из своих неофициальных бесед, записанных с его разрешения Борманом, думал уже не о Могилеве, и не о Смоленске, и даже не о Москве – Москва уже стала в его мыслях лишь промежуточным пунктом, который, «как центр доктрины, должен исчезнуть с лица земли». На четырнадцатый день войны Гитлер претендовал на гораздо большее: «Когда я говорю: «По ту сторону Урала», – то я имею в виду линию двести – триста километров восточнее Урала... Мы сможем держать это восточное пространство под контролем».

Что уж тут спрашивать с пленного фельдфебеля! Но почему же все-таки наши разведчики задали немцу этот сохранившийся в протоколе и показавшийся ему таким нелепым вопрос: что будет, если через некоторое время Советская Армия вступит на территорию Германии?.. Каким представлялось им тогда, в той обстановке, это «некоторое время»? Видимо, молодые офицеры разведотдела, несмотря на все неудачи, обрушившиеся на наш Западный фронт, все-таки верили, что через некоторое, не столь уж продолжительное время дела повернутся к лучшему. Если бы они этого не думали, у них не было бы ни внутренней потребности, ни нравственной силы задать этот странно прозвучавший тогда вопрос.

И второе, что меня заинтересовало, когда я сравнивал этот документ со своим дневником: откуда появилась в дневнике подробность, что немец, будучи сбит и имея компас, пошел не на запад, а на восток? Действительно ли он говорил, что немцы по плану должны были к 28 июня взять Смоленск, а если говорил, то почему это не попало в протокол допроса? Сейчас, задним числом, думаю, что вряд ли он говорил это. Просто был факт: от места катастрофы немец несколько дней шел по компасу не на запад, а на восток. И очевидно, после допроса, обсуждая этот факт, кто-то из нас сам предположил, что летчик шел на восток, потому что немцы, по их плану, уже должны были занять Смоленск.

В те дни, после первых неудач, потрясших душу своей неожиданностью, очень хотелось верить, что, несмотря на всю быстроту продвижения немцев, они рассчитывали на еще большее и у них не все выходит так, как они запланировали.

И эта вера вскоре начала оправдываться; чем дальше, тем чаще немцы встречались с не запланированной ими силой сопротивления, вносящей все большие изменения в их планы. Но в те дни, о которых идет речь в дневнике, как раз на Западном фронте, где немцы, сосредоточив наибольшие силы, наносили свой главный удар, им сопутствовали наибольшие успехи. И надо отдать должное нашим военным, они поняли: для того чтобы строить реальные планы дальнейших действий, необходимо было, как это ни горько, трезво оценить масштабы всего происшедшего на Западном фронте.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» можно познакомиться с теми выводами, которые сделал штаб фронта по первым десяти дням боев.

Вот как выглядит этот документ, подписанный генерал-лейтенантом Г.К. Маландиным: «В итоге девятидневных упорных боев противнику удалось вторгнуться на нашу территорию на глубину – 400 километров и достигнуть рубежа реки Березина. Главные и лучшие войска Западного фронта, понеся большие потери в личном составе и материальной части, оказались в окружении в районе Гродно, Гайновка, бывшая госграница...

Характерной особенностью немецких ударов было стремительное продвижение вперед, не обращая внимания на свои фланги и тылы. Танковые и моторизованные соединения двигались до полного расхода горючего.

Непосредственное окружение наших частей создавалось противником сравнительно небольшими силами, выделяемыми от главных сил, наносивших удар в направлениях Алитус – Вильно – Минск и Брест – Слуцк – Бобруйск.

Второй характерной особенностью являются активные и ожесточенные действия авиации, небольших десантных отрядов по глубоким тылам и коммуникациям с целью парализации

управления и снабжения наших войск... На направлениях главных ударов противник сосредоточил почти все свои имеющиеся силы, ограничиваясь на остальных направлениях незначительными частями или даже вовсе не имея там сил, а лишь ведя разведку». Я привел лишь один документ, но решимость сказать суровую правду проходит через множество документов того времени и дивизионного, и корпусного, и армейского масштаба. К чести людей, о которых я говорю, тревога за судьбу своей страны оказалась для них выше всех привходящих соображений.

История, а точнее – люди, делавшие эту историю, вскоре внесли в дальнейший ход войны ряд поправок в нашу пользу. Непредвиденно для немцев сквозь все их окружения в последующие недели и месяцы пробились с оружием в руках или просочились мелкими группами десятки тысяч военных людей, считавшихся погибшими, и некоторым из этих людей потом еще довелось брать и Кенигсберг и Берлин. А другие десятки тысяч тоже оказались не в плену у немцев, а три года воевали в партизанских отрядах Белоруссии и в 1944 году сказали свое последнее слово, содействуя разгрому в Минском и Бобруйском котлах той самой немецкой группы армий «Центр», которая в июне 1941 года брала Минск и Бобруйск.

Думая об этих поправках, внесенных историей, можно лишь гордиться мужеством своих соотечественников.

Когда-то, за три года до войны, в 1938 году, я написал стихотворение «Однополчане», кончавшееся такими строками:

Под Кенигсбергом на рассвете  
Мы будем ранены вдвоем,  
Отбудем месяц в лазарете,  
И выживем, и в бой пойдем.  
Святая ярость наступленья,  
Боев жестокая страда  
Завяжут наше поколение  
В железный узел, навсегда.

В конце концов именно так оно и вышло. Но в июне сорок первого дистанция до этого упомянутого в стихах Кенигсберга пока что с каждым днем все увеличивалась. Реальность, отраженная в моем военном дневнике, была куда суровей моих предвоенных поэтических прогнозов.

...Наша газета работала в пустоту. Ни о какой полевой почте, ни о какой регулярной рассылке газет не было и помину. Печаталось тысяч сорок экземпляров, и их развозили повсюду, куда удавалось, на собственных двух-трех грузовиках. И попадали они в одну, две, три дивизии. А о том, чтобы газета расходилась по всему фронту, в те дни не могло быть и речи.

Я вызвался ехать под Бобруйск с газетами, которые мы должны были развезти на грузовике во все встреченные нами части. С газетами поехали шофер-красноармеец, я и младший политрук Котов – высокий, казачьего вида парень в синей кавалерийской фуражке и в скрипучих ремнях. Он меня называл строго официально «товарищ батальонный комиссар» и настоял на том, чтобы я ехал в кабине.

Едва мы выехали из Могилева на Бобруйск, как увидели, что вокруг повсюду роят. Это же самое я видел потом ежедневно весь июль. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что вся Могилевщина и вся Смоленщина изрыты окопами и рвами. Наверное, так это и есть, потому что тогда рыли повсюду. Представляли себе войну еще часто как нечто линейное, как какой-то сплошной фронт. А потом часто так и не защищали всех этих нарытых перед немцами препятствий. А там, где их защищали, немцы, как правило, в тот период обходили нас.



Вокруг Могилева рыли, и на душе возникало тяжелое чувство, хотя, казалось, пора бы уже привыкнуть, что надо быть готовым ко всему.

Примерно после сорокового или пятидесятого километра нам навстречу стали попадаться по одному, по два грязные, оборванные, потерявшие военный вид люди – окруженцы.

Мы долго не встречали никаких войск. Только в одном месте, в лесу при дороге, стоял отряд НКВД. На дороге размахивал руками и распоряжался полковник, но порядка от этого все равно не получалось.

Мы раздавали свои газеты. У нас их было в кузове десять тысяч экземпляров. Раздавали их всем вооруженным людям, которых встречали, одиночкам или группам, – потому что не было никакой уверенности и никаких сведений о том, что мы встретим впереди организованные части.

Километров за двадцать до Бобруйска мы встретили штабную машину, поворачивавшую с дороги налево. Оказалось, что это едет адъютант начальника штаба какого-то корпуса, забыл его номер.

Мы попросились поехать вслед за ним, чтобы раздать газеты в их корпусе, но он ответил, что корпус их переместился и он сам не «знает, где сейчас стоит их корпус, сам ищет начальство. Тогда по его просьбе мы отвалили в его «эмку» половину наших газет. Над дорогой несколько раз проходили низко немецкие самолеты. Лес стоял сплошной стеной с двух сторон. Самолеты выскакивали так мгновенно, что слезать с машины и бежать куда-то было бесполезно и поздно. Но немцы нас не обстреливали.

Километров за восемь до Березины нас остановил стоявший на посту красноармеец. Он был без винтовки, с одной гранатой у пояса. Ему было приказано направлять шедших от Бобруйска людей куда-то направо, где что-то формировалось. Он стоял со вчерашнего дня, и его никто не сменял. Он был голоден, и мы дали ему сухарей.

Еще через два километра нас остановил милиционер. Он спросил у меня, что ему делать с идущими со стороны Бобруйска одиночками: отправлять их куда-нибудь или собирать вокруг себя? Я не знал, куда их отправлять, и ответил ему, чтобы он собирал вокруг себя людей до тех пор, пока не попадется какой-нибудь командир, с которым можно будет направить их назад группой под командой к развилке дорог, туда, где стоит красноармеец.

Над нашими головами прошло десятка полтора ТБ-3 без сопровождения истребителей. Машины шли тихо, медленно, и при одном воспоминании, что здесь кругом шныряют «мессершмитты», мне стало не по себе.

Проехали еще два километра. Впереди слышались сильные разрывы бомб. Когда мы уже были примерно в километре от Березины и рассчитывали, что проедем в Бобруйск и встретим там войска или встретим их на берегу Березины, из лесу вдруг выскочили несколько человек и стали отчаянно махать нам руками. Сначала мы не остановились, но потом они начали еще отчаяннее кричать и еще сильнее махать руками, и я остановил машину.

К нам подбежал совершенно побелевший сержант и спросил, куда мы едем. Я ответил, что в Бобруйск. Он сказал, что немцы переправились уже на этот берег Березины.

– Какие немцы?

– Танки и пехота.

– Где?

– В четырехстах метрах отсюда. Вот сейчас там у нас был с ними бой. Убиты лейтенант и десять человек. Нас осталось всего семь, – сказал сержант.

Мы заглушили мотор машины и слышали отчетливую пулеметную стрельбу слева и справа от дороги – совсем близко, несомненно, уже на этой стороне.

Мы сказали, чтобы сержант с бойцами подождал нас здесь, на опушке, мы все-таки попробуем немножко проехать вперед. Проехали метров триста и вдруг увидели, что прямо на шоссе на брюхе лежит совершенно целый «мессершмитт». Трое мальчишек копались в нем,

разбирая пулемет и растаскивая из лент патроны. Мы спросили, не видели ли они летчика. Они сказали, что нет, но каких-то трое военных пошли в лес искать летчика. Рядом с самолетом лежал окровавленный шлем. Очевидно, летчик был ранен и ушел в лес.

Пулеметная стрельба была теперь совсем близко. Мы повернули и доехали до ждавших нас на опушке красноармейцев. Теперь их стало больше, набралось уже человек пятнадцать.

Я посадил их всех на грузовик, и мы поехали назад, километра за полтора, где влево уходила проселочная дорога.

На нашу машину подсели еще несколько человек. Мы свернули налево, думая, что, может быть, хоть там, на этом проселке, есть какие-нибудь части.

На проселке нам встретился еще десяток красноармейцев. Мы с Котовым собрали их всех вместе – теперь уже человек сорок, – назначили над ними командиром старшего лейтенанта и приказали расположиться здесь, в леске, выслав в стороны по два человека искать какую-нибудь часть, к которой могла бы присоединиться вся их группа.

Потом мы развернулись и выехали обратно на шоссе. И здесь я стал свидетелем картины, которой никогда не забуду. На протяжении десяти минут я видел, как «мессершмитты» один за другим сбили шесть наших ТБ-3. «Мессершмитт» заходил ТБ-3 в хвост, тот начинал дымиться и шел книзу. «Мессершмитт» заходил в хвост следующему ТБ-3, слышалась трескотня, потом ТБ-3 начинал гореть и падать. Падая, они уходили очень далеко, и черные высокие столбы дыма стояли в лесу по обеим сторонам дороги.

Мы доехали до красноармейца, по-прежнему стоявшего на развилке дорог. Он остановил машину и спросил меня:

– Товарищ батальонный комиссар, меня вторые сутки не сменяют. Что мне делать?

Видимо, тот, кто приказал ему стоять, забыл про него. Я не знал, что делать с ним, и, подумав, сказал, что, как только подойдет первая группа бойцов с командиром, пусть он присоединится к ней.

Через два километра нам попала машина, стоявшая на дороге из-за того, что у нее кончился бензин. Мы перелили им часть своего бензина, чтобы они могли доехать до какой-то деревни поблизости, куда им приказано было ехать. А они перегрузили к нам в кузов двух летчиков с одного из сбитых ТБ-3.

Один из летчиков был капитан с орденом Красного Знамени за финскую войну. Он не был ранен, но при падении разбился так, что еле двигался. Другой был старший лейтенант с раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвезти в Могилев. Когда сажали их в машину, капитан сказал мне, что этот старший лейтенант – известный летчик, специалист по слепым полетам. Кажется, его фамилия была Ищенко. Мы подняли его на руки, положили в машину и поехали.

Не проехали еще и километра, как совсем близко, прямо над нами, «мессершмитт» сбил еще один – седьмой ТБ-3. Во время этого боя летчик-капитан вскочил в кузове машины на ноги и ругался страшными словами, махал руками, и слезы текли у него по лицу. Я плакал до этого, когда видел, как горели те первые шесть самолетов. А сейчас плакать уже не мог и просто отвернулся, чтобы не видеть, как немец будет кончать этот седьмой самолет.

– Готов, – сказал капитан, тоже отвернулся и сел в кузов.

Я обернулся. Черный столб дыма стоял, казалось, совсем близко от нас. Я спросил старшего лейтенанта, может ли он терпеть боль, потому что я хочу свернуть с дороги и поехать по целине к месту падения самолета – может быть, там кто-нибудь спасся. Летчику было очень больно, но он сказал, что потерпит. Мы свернули с дороги и по ухабам поехали направо. Проехали уже километров пять, но столб дыма, казавшийся таким близким, оставался все на том же расстоянии.

На развилке двух проселков нас встретили мальчишки, которые сказали, что туда, к самолету, уже поехали милиционеры. Тогда, видя, что раненый летчик на этих ухабах еле сдерживает стоны и терпит страшную боль, я решил вернуться обратно на шоссе.

Едва мы выехали на шоссе, как над нами произошел еще один воздушный бой. Два «мессершмитта» атаквали ТБ-3, на этот раз шедший к Бобруйску совершенно в одиночку. Началась сильная стрельба в воздухе. Один из «мессершмиттов» подошел совсем близко к хвосту ТБ-3 и зажег его.

Самолет, дымя, пошел вниз. «Мессершмитт» шел за ним, но вдруг, кувырнувшись, стал падать. Один парашют отделился от «мессершмитта» и пять от ТБ-3. Был сильный ветер, и парашюты понесло в сторону. Там, где упал ТБ-3 – километра два-три в сторону Бобруйска, – раздались оглушительные взрывы. Один, другой, потом еще один.

Я остановил машину и, посоветовавшись с Котовым, сказал летчикам, что нам придется их выгрузить, вернуться к тому месту, где опустились наши сбросившиеся с самолета летчики, и, взяв их, потом ехать всем вместе в Могилев. Раненый летчик только молча кивнул головой. Мы вынесли его из машины на руках и положили под деревом. Там, вместе с ним под деревом, остались Котов, второй летчик, капитан и два раненых красноармейца, которых мы подобрали по дороге.

Я сказал капитану, чтобы он до моего возвращения был здесь старшим, а сам вдвоем с шофером поехал назад.

Мы проехали обратно по шоссе три километра. Столб дыма и пламени стоял вправо от шоссе. По страшным кочкам и ухабам мы поехали туда, взяв по дороге на подножку машины двух мальчишек, чтобы они показали нам путь.

Наконец мы добрались до места падения самолета, но подъехать к этому месту вплотную было невозможно. Самолет упал посреди деревни с полной боевой нагрузкой и с полными баками горючего. Деревня горела, а бомбы и патроны продолжали рваться. Когда мы подошли поближе, то нам даже пришлось лечь, потому что при одном из взрывов над головой просвистели осколки.

Несколько растерянных милиционеров бродили кругом по высоким хлебам в поисках спустившихся на парашютах летчиков. Я вышел из машины и тоже пошел искать летчиков. Вскоре мы встретили одного из них. Он сбросил с себя обгоревший комбинезон и шел только в бриджах и фуфайке. Он показался мне довольно спокойным. Встретив нас, он, морщась, выковырял через дыру в фуфайке пулю, засевшую в мякоти ниже плеча.

Он остался там, у деревни, а милиционеры, водитель и я, разойдясь цепочкой, пошли дальше по полю. Рожь стояла почти в человеческий рост. Долго шли, пока наконец я не увидел двух человек, двигавшихся мне навстречу. Мы все шли на розыск с оружием в руках, потому что сбросились не только наши летчики, но и немец. Но, когда я увидел двоих вместе, я понял, что это наши, и начал им махать рукой. Они сначала стояли, а потом пошли мне навстречу с пистолетами в руках.

Еще не предвидя того, что произойдет потом, но понимая, что эти двое не могут быть немцами, я спрятал наган в кобуру. Летчики подходили ко мне все ближе и, когда подошли шагов на пять-шесть, направили на меня пистолеты.

– Кто? Ты кто?

Я сказал:

– Свой!

– Свой или не свой! – крикнул один из летчиков. – Я не знаю, свой или не свой! Я ничего не знаю!

Я повторил, что тут все свои, и добавил:

– Видишь, у меня даже наган в кобуре.

Это его убедило, и он, все еще продолжая держать перед моим носом пистолет, сказал уже спокойнее:

– Где мы? На нашей территории?

Я сказал, что на нашей. Подошли милиционеры, и летчики окончательно успокоились. Один из них был ранен, другой сильно обожжен. Мы вернулись вместе с ними к третьему, оставшемуся у деревни. Туда же за это время пришел и четвертый. Пятого отнесло куда-то в лес, и его продолжали искать. Куда отнесло на парашюте немца, никто толком не видел.

Летчики матерно ругались, что их послали на бомбежку без сопровождения, рассказывали о том, как их подожгли, и радовались, что все-таки сбили хоть одного «мессершмитта». Но меня, видевшего только что всю картину гибели восьми бомбардировщиков, этот один сбитый «мессер» не мог утешить. Слишком дорогая цена.

Мы не стали ждать, пока найдут пятого летчика, – на это могло уйти несколько часов, а у меня оставались на дороге раненые. Я забрал с собой этих четырех летчиков, из которых двое тоже были легко ранены, а третий обожжен, посадил их в кузов и поехал обратно.

На шоссе, в полукилометре от того места, где я оставил своих спутников, меня встретил стоявший прямо посреди дороги бледный Котов. Рядом с ним стоял какой-то немолодой гражданский с велосипедом. Я остановил машину.

– Почему вы здесь? – спросил я Котова.

– Случилось несчастье, – сказал он трясущимися губами. – Несчастье.

– Какое несчастье?

– Я убил человека.

Стоявший рядом с ним гражданский молчал.

– Кого вы убили?

– Вот его сына. – Котов показал на гражданского.

И вдруг гражданский рыдающим голосом закричал:

– Четырнадцать лет! Какой человек? Мальчик! Мальчик!

– Как это случилось? – спросил я.

Котов стал объяснять что-то путаное, что кто-то побежал через дорогу по полю и он принял этих бежавших за немецких летчиков, потому что упал немецкий бомбардировщик, и он выстрелил и убил.

– Как он мог принять за летчика мальчика четырнадцати лет? Просто убил, и все! – снова закричал гражданский и заплакал.

Я ничего не понимал и не знал, что делать.

– Садитесь в машину оба. Поедем! – сказал я.

Котов и гражданский сели в кузов, и мы поехали туда, где под большим деревом ждали нас остальные. Оставшийся за старшего летчик-капитан растерянно рассказал мне, что недалеко в лесу упал сбитый немецкий бомбардировщик и были видны два спускавшихся парашюта. Котов, взяв с собой двух легко раненных красноармейцев, пошел туда, поближе к опушке, и увидел, что от опушки метрах в шестистах от него перебежали двое в черных комбинезонах. Он стал кричать им «стой!», но они побежали еще быстрее. Тогда он приложился и выстрелил. С первого же выстрела один из бежавших упал, а второй убежал в лес. Когда Котов вместе с красноармейцами дошли до упавшего, то увидели, что это лежит убитый наповал мальчик в черной форме ремесленного училища. Вскоре туда же прибежал его отец – этот человек с велосипедом, бухгалтер колхоза.

Что было делать? Отец плакал и кричал, что Котова надо расстрелять, что Котов убил его сына, единственного сына, что мать еще не знает об этом и он сам даже не знает, как ей об этом сказать. Он требовал от меня, чтобы я оставил Котова здесь, в их деревне, в километре отсюда, пока он не вызовет кого-нибудь из местного НКВД.

Слушая его отчаянный, ожесточенный голос, я вдруг понял: если оставить здесь Котова, то вполне возможно, что отец убитого и соседи, даже тот местный участковый милиционер, да и всякий другой, кто тут окажется, в том нервном, отчаянном состоянии, которое сегодня здесь у всех, просто устроят самосуд и вместо одного убитого будут двое.

Я сказал, что не могу оставить здесь Котова и что сдам его в военную прокуратуру в Могилеве, куда я возвращаюсь. Отец мальчика стал кричать, что я хочу скрыть все это дело и что нет, он не отпустит Котова, что так нельзя. Тогда я сказал Котову, что он арестован, отобрал у него оружие и патроны, посадил его в кузов грузовика и в присутствии отца убитого приказал одному из красноармейцев охранять Котова и, если Котов попытается бежать, стрелять по нему. Потом записал на бумажку свою фамилию и место службы – редакцию, отдал бумажку отцу убитого и твердо обещал, что это дело будет разобрано.

Времени терять было нельзя. Я сел в машину, и мы рванулись с места. Отец убитого стоял на дороге – раздавленный горем человек, к тому же еще угнетенный, наверно, мыслью, что я скрою случившееся.

Спустя километр мы пронеслись через деревню. Стояла толпа, слышались вопли и крики. Наверно, только что узнали о случившемся. Я еще раз подумал, что действительно здесь могли бы устроить самосуд над Котовым.

Всю обратную дорогу мы ехали молча. Сначала сзади еще доносилась артиллерийская стрельба, потом стало тихо. Как я позже узнал, немцы в этот день с утра действительно форсировали Березину около Бобруйска. Их отбивало в пешем строю растянутое на двенадцать километров Бобруйское танковое училище, которое на следующий день, когда немцы окончательно переправились, полегло там, в лесах, в неравном бою.

В Могилев мы вернулись только к ночи. Я отвез всех раненых в госпиталь. В темноте их долго не принимали, шла какая-то канитель. У меня еще было наивное штатское представление, что к каждому привезенному раненому должны сразу выскочить все врачи и сестры. Меня удивило, с каким спокойствием в ту ночь принимали у меня раненых – так показалось мне, – хотя, в сущности, это была нормальная жизнь госпиталя, круглые сутки принимающего раненых. К этому я привык только потом.

Сдав раненых, я вместе с Котовым и летчиком-капитаном вернулся в редакцию. Там, попросив редактора, чтобы из комнаты ушли посторонние, я положил ему на стол пистолет и патроны, отобранные у Котова, и доложил о происшедшем. Летчик, со своей стороны, как свидетель, тоже рассказал об этом. Он был удручен, так как оставался в мое отсутствие старшим и чувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту дику историю.

Устинов неожиданно для меня отнесся ко всему происшедшему спокойней, чем я думал, и сказал, что доложит об этом члену Военного совета фронта, а пока что потребовал, чтобы Котов сдал ему свои документы. Оказалось, что у Котова никаких документов нет, что он в растерянности, уговаривая отца убитого подождать, пока я вернусь, отдал ему в залог свои документы и потом так и не взял их.

Я написал короткую объяснительную записку. То же самое сделал летчик, и мы, смертельно усталые, повалились спать на полу рядом все трое.

Так кончился этот день.

Засыпая, я думал о Котове. Мне казалось, что его признают виновным и, может быть, расстреляют. Хотя сделал все, что мог, чтобы спасти его от самосуда, но мне казалось, что за гибель мальчика, которая могла произойти только в обстановке общей нервозности этого дня, Котова будут судить и, возможно, расстреляют. Другие меры наказания в те дни не приходили в голову. Казалось, что с человеком можно сделать только одно из двух – или расстрелять, или простить.

Потом, на следующий день, я узнал, что когда о случившемся доложили члену Военного совета, то он, расспросив, как до этого вел себя Котов, и узнав, что хорошо, сказал:

– Ну что же, пусть загладит свою вину на войне.

В те дни мне еще казалось, что даже совершенно нечаянное убийство человека из-за своей непоправимости все равно такое деяние, за которое нельзя не понести наказания... И все-таки, в общем, наверно, все это было правильно тогда – и то, что не оставил Котова одного там, на дороге, когда ему грозил самосуд, и то, что его потом простили. Мальчика не вернешь все равно, а в живых остался все-таки лишний солдат...

В дневнике нет точной даты нашей поездки под Бобруйск. Сейчас, после проверки, могу назвать ее – это было 30 июня. Но, чтобы объяснить картину, которую мы увидели в этот день на шоссе Могилев – Бобруйск и над ним, надо, обратившись к документам, вернуться еще на несколько дней назад.

Захват Бобруйска и переправа через Березину были связаны с быстрым продвижением правого фланга группы Гудериана. Переправившись через Березину у Бобруйска, немецкие танковые и механизированные части не пошли на северо-восток, на Могилев, а рванулись в обход его, прямо на восток, к Днепру, на Рогачев, и захватили его.

В дневном сообщении Информбюро за 1 июля впервые упоминается о Бобруйском направлении, где « всю ночь наши войска вели бои с подвижными частями противника, противодействуя их попыткам прорваться на восток. В бою участвовали пехота, артиллерия, танки и авиация ». Сводки Информбюро в тот период, как правило, отставали от молниеносно разворачивающихся событий. Но в данном случае Бобруйское направление появилось в сводке почти сразу после того, как оно действительно возникло. Скажу попутно, что сам термин «направление», по поводу неопределенности которого мы тогда, случалось, говорили между собой с маскировавшей душевную боль горькой иронией, сейчас, по зрелому размышлению, мне кажется для того времени оправданным не только с чисто военной точки зрения, но и психологически.

Слова «Бобруйское направление», к примеру, давали общее географическое представление о глубине нанесенного нам удара, в то же время уводя от конкретного перечисления всех отданных немцам пунктов. Все случившееся в начале войны было такой огромной силы психологическим ударом, что можно понять тогдашнее нежелание вдаваться в устрашающую детализацию и без того грозных сообщений.

Что же касается армейских и фронтовых сводок, то происходившие на Бобруйском направлении события с самого начала излагались, как правило, точно, если не считать пробелов, связанных с обрывами связи и недостаточной информацией.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» слово «Бобруйск» упоминается впервые 26 июня: «4-я армия продолжала отходить за Бобруйск».

Следующее упоминание о Бобруйске в «Журнале» появляется 28 июня: «Противник, развивая наступление передовыми подвижными частями... на левом фланге овладел Бобруйском и готовил форсирование Березины».

В «Журнале» приводится сводка штаба 4-й армии: «Сводный отряд... под командованием командира 47-го стрелкового корпуса успешно отражал попытки противника форсировать Березину в районе Бобруйска».

Что представлял из себя этот сводный отряд, которому была поставлена задача не допустить переправы немецких танков через Березину, дает представление донесение его командира генерала Поветкина. Вечером 28 июня отряд состоял из сводного полка – 900 человек, автотракторного училища – 440 человек, 246-го стрелкового батальона – 300 человек, 273-го батальона связи – 300 человек и 21-го дорожно-эксплуатационного полка – 800 человек. А всего около двух с половиной тысяч человек из пяти разных частей. Кстати сказать, сам генерал Поветкин, дважды раненный и контуженный в бою еще 29 июня, продолжал командовать сводным отрядом до конца его действий – до 3 июля.

О входившем в сводный отряд Бобруйском тракторном училище (которое я в дневнике по ошибке назвал танковым) упоминается в том же донесении политуправления Западного

фронта, где впервые сообщается о подвиге Гастелло. В нем говорится, что курсанты училища ведут разведку в уже захваченном немцами Бобруйске и о том, как в одной из таких разведок курсант Иванов, получив четыре ранения, истекая кровью, все-таки переплыл обратно реку и доложил полученные им данные.

О дальнейших событиях, происходивших 30 июня, дают представление оперативные сводки и «Журналы боевых действий». В сводке за 30 июня говорится, что ночью с 29-го на 30-е немцам не удалось переправиться через Березину, их попытки переправиться были отбиты.

Утром 30-го немцы продолжают попытки форсировать Березину, и в 8 часов утра их первые три танка оказываются на этом берегу.

В «Журнале боевых действий 4-й армии» появляются драматические слова: «Нечем поддерживать пехоту. Осталось три противотанковых орудия ПТО и две 76-мм пушки. Части сводного отряда начали отход».

После этого рассказывается о том, как командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, выбросив на помощь отряду один батальон 42-й стрелковой дивизии, сам с группой командиров выехал на передовую.

Дальше в «Журнале» записано, что под руководством командарма был организован сводный батальон из отходящих людей, расставлены противотанковые орудия и приостановлено отступление.

В 7 часов вечера, как указывается в «Журнале», атака противника была отбита на рубеже реки Олы. «После ожесточенного боя к 19.30 30 июня противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков направилось в северном направлении на Могилев». Так выглядел этот день – 30 июня – в «Журнале боевых действий войск Западного фронта».

Березину форсировал 24-й немецкий танковый корпус. В авангарде его шла 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Моделя.

По иронии судьбы ровно три года спустя, 28 июня 1944 года, именно этот генерал Модель, уже в чине фельдмаршала, вновь прибыл именно сюда, сменив на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Буша, в тот момент, когда главные силы 9-й германской армии были окружены нами как раз в районе Бобруйска.

Повествуя о событиях, происходивших ровно через три года в этих же самых местах, немецкий военный историк Типпельскирх выразительно назвал эту главу своей книги: «Крах немецкой группы армий «Центр».

Но тогда, 30 июня 1941 года, до всего этого было еще безмерно далеко.

В дневнике сказано, что мы были уже почти у Березины, когда нашу машину остановили выскочившие из лесу бойцы. Теперь, после войны, заново проехав эту дорогу, я понял, что все было не совсем так, как мне тогда стгоряча показалось. В середине дня 30 июня мы не могли оказаться в километре от Березины – там в это время были уже немцы. В действительности мы совсем немного не доехали до реки, но не до Березины, а, как я теперь понимаю, до той маленькой речки Олы, где как раз в это время пытался задержать немцев генерал Коробков. Очевидно, именно через эту речку Олу переправилось несколько немецких танков с десантами. С ними и вела бой та группа бойцов, остатки которой остановили нас на шоссе.

Кто знает, сами ли они спутали Березину с Олой или просто кричали нам о немецких танках и пехоте, только что переправлявшихся через реку, а мы, держа в уме Березину, решили, что речь идет о ней?

А теперь о самом главном, о чем мне хочется рассказать в связи с этими страницами дневника, – о том сплаве героического и трагического, который характерен был в эти дни для действий нашей авиации.

Вполне понятно, что первое же известие о том, что немцы начали переправу у Бобруйска, грозившую тяжкими последствиями для всего южного крыла нашего Западного фронта,



вызвало в штабе фронта острую тревогу. Очевидно, этим и продиктована телеграмма, которую я нашел среди других документов тех дней. «Ответственного дежурного зовите! Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно. Всеми силами эшелонировано, группами уничтожить танки и переправы в районе Бобруйска».

Телеграмма подписана командующим фронтом Павловым и Таюрским, вступившим в командование воздушными силами Западного фронта после гибели застрелившегося в первые дни войны генерала Копец.

Есть все основания предполагать, что по этой категорической телеграмме штаба фронта было поднято в воздух и в течение дня брошено на Бобруйск все или почти все, чем располагали к тому моменту бомбардировочная авиация Западного фронта и приданный ей Ставкой 3-й дальний бомбардировочный корпус.

Мощные, с большим радиусом действия тяжелые бомбардировщики ТБ-3, которые когда-то успешно высаживали на Северный полюс Папанина, а уже в 1939 году на Халхин-Голе из-за своей тихоходности использовались исключительно ночью, здесь, на Западном фронте, входили главным образом в состав 3-го дальнего бомбардировочного авиакорпуса.

В сводке о потерях материальной части авиации Западного фронта говорится, что за 30 июня 3-м авиакорпусом, в составе которого действовали полки ТБ-3, была потеряна 21 машина. На них 5 сбиты в воздушных боях и 16 не вернулись с боевых заданий.

В число этих потерь за 30-е, очевидно, входят и те восемь ТБ-3, гибель которых я своими глазами видел над шоссе Могилев – Бобруйск.

Целый ряд документов говорит о том, что 30 июня наша авиация, в том числе ТБ-3, нанесла немцам под Бобруйском чувствительные удары и, по крайней мере частично, выполнила свою задачу. В донесениях летчиков говорится о бомбежке скоплений немецких танковых частей на переправе и в лесу севернее Бобруйска, о бомбежке Бобруйского аэродрома, о том, что выполнено задание зажечь лес в районе другой переправы, южнее Бобруйска, говорится о том, что в Бобруйске пожары, а мост через Березину взорван, о бомбежке механизированных частей немцев юго-западнее Бобруйска и немецких тылов на дороге Глуша – Бобруйск.

Донесения летчиков подтверждаются донесениями с земли. В одном из них указывается, что начатая немцами через Березину переправа прервана налетом нашей авиации, в другом сообщается, что семь наших бомбардировщиков бомбят переправу противника... Есть и другие донесения такого же характера.

Таким образом, летчики сделали все, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними категорической телеграммой штаба фронта. Другой вопрос, чего это стоило среди бела дня, когда немецкая истребительная авиация господствовала в воздухе.

Летчики один за другим сообщают, что во время выполнения заданий непрерывно подвергаются атакам немецких истребителей, что на Бобруйском аэродроме находится около двадцати «Мессершмиттов-109», что немцы посадили на других ближайших аэродромах много «Мессершмиттов-109». И все это дополняется донесениями об ожесточенном огне немецкой зенитной артиллерии, действия которой в дневных условиях были особенно сокрушительны по тихоходным ТБ-3.

В донесениях бомбардировочных авиаполков, действовавших под районом Бобруйска, встречается несколько упоминаний о убитых «мессершмиттах». Как ни велико было неравенство в силах между «мессершмиттами» и ТБ-3, все-таки не все немецкие истребители оставались безнаказанными. Очевидно, это следует объяснить мужеством хвостовых стрелков на наших бомбардировщиках: даже в безнадежном положении, с горящих самолетов, они продолжали вести огонь и иногда сбивали тех немцев, которые, рассчитывая на безнаказанность, приближались вплотную к подбитым, дымящимся бомбардировщикам.

В некоторых донесениях указывается, что часть экипажей самолетов выбросилась и вернулась на аэродромы, а стрелки этих же самолетов были убиты в воздухе. Во всяком случае,

я своими глазами видел два сбитых «мессершмитта». Да и тот немецкий бомбардировщик, из которого, по словам моего спутника Котова, выбросились на парашютах два человека, скорее всего был тоже не бомбардировщик, а двухместный истребитель «Мессершmitt-110».

Трагедия, которая произошла в районе Бобруйска 30 июня с нашими пошедшими на дневную бомбежку ТБ-3, обратила на себя внимание даже на общем тяжелом фоне всего происходившего в те дни. Об этом свидетельствует телеграмма, посланная на следующий день, 1 июля, командиром 3-го дальнего бомбардировочного корпуса полковником Н.С. Скрипко (впоследствии – маршал авиации). «Вручить немедленно командующему ВВС Зап. фронта. Могилев... Чрезмерно большое количество потерь 30 июня 41 г. дальней бомбардировочной авиации происходило из-за отсутствия наших истребителей над целью и неподавления огня зенитной артиллерии... Для действия дальней бомбардировочной авиации прошу указать, когда можно иметь обеспечение истребителями и штурмовые действия по зенитной артиллерии... Полковник Скрипко».

На этой телеграмме стоит карандашная резолюция командующего ВВС: «Все истребители летают в районе цели. А. Таюрский».

Наверно, резолюция отвечала действительности. Другой вопрос, что это значило – «все истребители». Сколько их было в наличии и какие?

Я не разыскал цифр наличия авиации на Западном фронте к началу июля, но думаю, что об этом может дать известное представление более поздняя сводка ВВС Западного фронта – за 21 июля 1941 года. Судя по ней, на тридцатый день войны на всем Западном фронте у нас осталось (очевидно, с учетом поступивших за эти дни пополнений) всего семьдесят восемь истребителей. Причем только пятнадцать из них были современными: двенадцать МиГов и три ЛаГа. А все остальные были устарелые И-16, И-153 и И-15.

В этом и состояло главное объяснение многого происходившего тогда и в воздухе и на земле, в том числе и упомянутой в дневнике бобруйской трагедии.

Человеку, думающему об ее истоках, прежде всего, конечно, приходит в голову обратиться к первому утру войны, когда только на одном Западном фронте и только на земле было уничтожено пятьсот двадцать восемь наших самолетов, в том числе почти все современные истребители, которые в связи с переоборудованием ряда аэродромов были скучены на нескольких площадках, расположенных впритык к границе и досконально разведанных немцами.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят комментирующие этот факт строки: «Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Копец, главный виновник гибели самолетов, по-видимому, желая избежать кары, получив еще неполные данные о потерях, в тот же вечер 22 июня застрелился. Остальные виновники получили по заслугам позднее».

То, что один из блестящих летчиков, герой испанской войны Копец, в тридцать два года ставший командующим авиацией крупнейшего округа, мог застрелиться, наверное, не столько из боязни кары, сколько под гнетом легшей на его плечи ответственности, психологически понятно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.